

**Анатолий АЗОЛЬСКИЙ**



# НОРА

*Ошибки делают нас умнее, но несчастнее...*

ЛЮБИМЫЙ  ДЕТЕКТИВ

**Анатолий Азольский**  
**Нора**  
Серия «Любимый детектив»

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=70387645](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70387645)*

*Нора:*

*ISBN 978-5-4484-4370-1*

**Аннотация**

Анатолий Алексеевич Азольский (1930–2008) – известный русский писатель авантюрного жанра, произведения которого получали высокие литературные награды, по ним снимались кинофильмы. В книгу вошли пять его детективно-остросюжетных повестей («Нора», «Облдрамтеатр», «Патрикеев», «ВМБ», «Белая ночь»), написанных прекрасным языком, с тонким юмором и динамичной фабулой. Их герои – вечные искатели приключений, деньги для них – презренный металл, нужный лишь для обеспечения свободной жизни.

# Содержание

Нора	5
1	5
2	32
3	55
4	76
5	98
Облдрамтеатр	128
Конец ознакомительного фрагмента.	149

# **Анатолий Алексеевич Азольский Нора**

© Азольский А.А., наследники, 2023

© ООО «Издательство «Вече», 2023

# Нора

## Повесть

### 1

Однажды осенью 1975 года в продмаге, что на Филях, оказался прилично одетый трезвенький гражданин. Магазин – на бойком месте; торопясь выпить в получку, рабочий люд без очереди лез и в кассу, и к прилавку. Бутылки с водкой плыли над головами, опускались в карманы и уносились во дворы, за дома, к скамейкам Филевского парка, где и опустошались. Робкое пожелание гражданина выпить на троих было услышано в толчее и гаме, деньги от него получены, тут-то и случилось недоразумение, из-за него и остался гражданин в памяти как проживавших рядом алкашей, так и тех, кто забегал сюда изредка. За стакан водки гражданин дал сотенную купюру, лишь кассирша в груди смятых рублевых бумажек обнаружила широкоформатный банковский билет, цветом напоминавший рыжеватую ассигнацию самого низкого достоинства. Алкаш, получивший неимоверно большую сдачу, оторопело озирался в поисках чудака, дурня или провокатора. Нашли его, отброшенного людской волной, у стены, над головой гражданина – контрольные весы на полке, и сто-

ял он под ними, как под часами, будто назначил кому-то свидание, разве что букетика цветов не держала рука. «Эй, фразер ушастый!» – позвали его два честных и нетерпеливых алкаша, сунули в карман сдачу и повели к мусорным бакам, во двор, и еще при подходе к зловонному месту алкаш, который нес бутылку, покрутил пальцами, призывно поднятыми, как это делают в ресторане спешащие расплатиться едоки; официант подлетел к бакам незамедлительно: баба во флотском бушлате достала из сумки стакан и удалилась.

Крупные навывкате глаза удивленного гражданина с волнением наблюдали за процессом разлива жидкости и поглощения ее. «Мне чуть-чуть, немножечко...» – жалко произнес он, но слова остались не услышанными, алкаши ушли, гражданин один на один оказался с третью пол-литра в стакане и бабой, флотский бушлат которой дополнялся армейскими ботинками. Под напором непреодолимых обстоятельств ему пришлось выпить водку, а не донести ее каким-либо способом до дома, чтоб употребить алкоголь у себя на кухне, под хорошую закуску, как это нередко практиковалось в кругах, близких к магазину. У мусорных же баков гражданин довольствовался тем, что презентовали ему алкаши: закусил он огрызком огурца, и не столько, пожалуй, стакан с водкой, сколько этот осыпанный табачной пылью огрызок приобщил его к широкому общественному движению, к пьянству то есть, потому что стал он отныне появляться там, где торгуют кружечным пивом и водкой, держал наготове два рубля и не

всякому совал их, а почище одетым и со склонностью пить не на помойках, а предпочтительно в парке, где безопасно и почти комфортабельно. Новоявленный алкаш называл себя Михаилом Ивановичем, после распития охотно вступал в содержательные беседы, обнаруживая обширные знания по части алкоголя, хотя пил мало и редко, и прозвище Профессор заслужил обоснованно; интеллигента, однако, из себя не корчил, почти угодливо раскланивался с алкогольной знатью микрорайона, давал до получки трояк или пятерку, а однажды, спасая тех, кого по утрам бил колотун, принес к закрытому магазину непечатую бутылку. Где работает и работает ли вообще – не сообщал, ограничиваясь туманным «в отпуске я», тем же отпуском объясняя водившиеся у него денежки, но что был образованным человеком – никто не сомневался, прошел даже слух, что Михаил Иванович кончил «академию», потому что знал, в каком году из Генуи привезли в Россию водку и когда возник обычай пить «на троих», или «на трех» (как правильно – не мог сказать сам Профессор). Употребив свои граммы, Михаил Иванович жадно слушал и порывисто говорил, потом церемонно прощался и уходил в сторону метро «Филевский парк». Куда ехал дальше – никто не прослеживал, думали, однако, что живет он в Царском Селе, в квартале, названном так потому, что обитали в нем кремлевские товарищи, в домах с улучшенной планировкой у метро «Кунцевская». Помимо догадок о месте прописки филевская пьянь искала и причины, по кото-

рым Профессор тяготел к магазинным задам, и сходилась на том, что тот либо поскандалил с «бабой», либо оформляет документы на выезд и перед долгой разлукой с Отечеством набирается жизненных впечатлений.

Точный ответ мог дать непьющий инженер Алеша Родичев, человек, выросший среди здешней пьяни, презиравший алкашей и тянувшийся к ним, давно переехавший на Юго-Запад, но не порывавший со старым домом и собутыльниками отца. Ему они и рассказали о Михаиле Ивановиче, и Алеша злорадно подумал о каверзах пораженного алкоголем сознания. Нет никакого кремлевского царедворца, с облачных высот спущенного на землю, орошенную мочой и пивом! А всего-то какой-нибудь министерский служащий, человек, которому всю жизнь затыкали рот, зануда, всем опротивевший на службе и наконец-то нашедший почитателей и ценителей, эту филевскую рвань! Профессор – миф, а как эти мифы рождаются, известно и понятно. Возникают они не в сладкоречии после стакана, а за полчаса до того, как прольется долгожданная влага на шершавые внутренности. Обезвоженный организм молит о ней, взывает к судьбе; алкаш, униженный поутру женой и оскорбленный соседкой, на негнущихся ногах плетется к магазину задолго до открытия его, к двери, откуда вынесут ему живительную влагу, к страдальцам, зажимающим в потном кулаке рублевки и не раз сосчитанную мелочь. До вселенского блага еще полчаса, еще двадцать минут, но уже светлеют души, предвосхищение раз-



вязывает языки, наступает пора изощренного вранья, червячками скрученные химеры выползают наружу, извиваясь и удлиняясь, излагаются истории, одна другой загадочнее, но смысл у них общий: справедливость восторжествует, грядет час великого поравнения, и если сейчас нет у тебя чего-то, а у других оно в избытке, то произойдет переброс, перелив – из большего в меньшее, сильные станут послабее, слабые по-сильнее, богатые урежут себя добровольно, отдадут кое-что бедным, и – конечно же! – те, у кого водки много, опохмелят их, страждущих. Сказочные сюжеты каплями бальзама падают на израненные души, еще до стакана разогревая их фантастическими картинками. То полковник милиции подзывает к «Волге» с мигалкою униженного алкаша и наливает ему полстакана: «Пей – и чтоб я тебя больше не видел!» То переодетым визирем появляется у магазина таинственный деятель в плаще, бесплатно и щедро наливает, а злобствующему милиционеру грозит красным удостоверением, обращая того в бегство.

Отправленный как-то в местную командировку, Алеша Родичев побывал на телевизионном заводе, побродил у любимого с детства кинотеатра и решил погулять по старым местам. Отец, царство ему небесное, пил по-черному, мать, земля ей пухом, попивала, и родители для питья облюбовали этот район, часто уезжали сюда, не вместе, стыдясь греха, и мать посылала Алешу искать отца, когда тот бывал в загуле, гнала сына к магазину на Филях, куда и сама наведы-

валась, в мужские компании не лезла, брала бутылку, отхлебывала в подъезде за углом, плутала по чужим дворам, садилась на грязные скамейки и плакала, возвращалась к магазину; здесь два или три пальца согнутой руки подають красно-речивый сигнал, кто-то снуёт в толпе, спрашивая: «Третьим будешь?» К Алеше никто не подходил и не подойдет, лицо у него серьезное, очень серьезное, одет опрятно и бережливо, с такой внешностью не бывать ему в компаниях, где анекдоты, выпивка и девицы. Двадцать шесть лет уже, три года отбарабанил в КБ после института, старшего инженера не дали, однако все впереди, в НИИ на Пресне сулят и повышение, и оклад в полтора раза больший, а там и аспирантура, в 1980 году Алексей Петрович Родичев станёт кандидатом наук.

Погрустив у магазина, он пошел в парк – и натолкнулся на соседей по старому дому, те и показали ему Михаила Ивановича, подвели к нему, познакомили; пораженный Алеша молчал. В крупных влажных глазах Профессора застыло выражение, какое бывает у пса, вдруг потерявшего хозяина: боль и грусть, недоумение и тревога. Пропадающая личность, жалкий человек, не ведающий о том, чем кончаются пути, начатые у магазинов. Года не пройдет, как сопьется Михаил Иванович, сойдет с дистанции, так сказать.

Неприятная встреча. Отец почему-то вспомнился, как переезжали три года назад, уже без матери, на новую квартиру – был такой же тусклый день, эта же пьянь помогала таскать

вещи, та, что обступила сейчас блаженненького, сующего гостинцы (деньги в долг без отдачи) и ниспосылающего милости (помощь в трудоустройстве алкашей). Сдернули пробку с новой бутылки, стали разливать, Михаил Иванович протянул стакан: «Плесни чуток...» – не понимая, что доза его – не пятьдесят граммов на донышке, а в три раз больше, что такая просьба – из репертуара бойких ханыг, которые с улыбочкой откровенного дружелюбия подлетают к основательным алкашам: «Витек, давно не виделись, как жизнь, плесни чуток!»

Перед ноябрьскими праздниками Алеша узнал: Михаил Иванович пропал, сгинул, исчез, и не человек он уже, а полузабытый слух, как это и бывает. Так уж устроен мир: честные и трезвые преуспевают, набираясь ума, глупые и пьяные живут похуже, ютятся в облеваных пивных, где, кстати, кто-то видел царскосельского пропойцу – Михаил Иванович, говорят, лежал в дымину пьяный под столиком.

Алеша забыл о нем, а если и вспоминал, то с уверенностью, что никогда уж не увидит его. В НИИ на Пресне старшему инженеру Родичеву положили оклад 190 рублей плюс премия, он, правда, еще не выбрался из долгов, дорого обошелся памятник на могиле родителей, но долги эти не частным, так сказать, лицам, а кассе взаимопомощи.

И все-таки повидаться с Михаилом Ивановичем ему пришлось – в июле следующего года, и был тот все тем же щедрым, как осенью, отставным служащим и при деньгах, а сам

Алеша, без работы и без денег, падал в черную яму.

Он летел со свистом, растопыбив руки, пытаясь вцепиться в какой-нибудь выступ, чтоб притормозить, замедлить падение, и все же падал камнем, и дно, о которое суждено было разбиться, приближалось с каждым прожитым в голодании днем. Денег, по самым нищенским расчетам, едва хватало до августа, и уже с конца мая он тратил тридцать копеек в сутки, из которых четырнадцать уходило на папиросы «Север». Семикопеечная булочка и три стакана чая по три копейки каждый составляли его дневной рацион, остропахнувшие столовые и забегаловки он обходил стороной, потому что от удара запахов начинались режущие боли в животе, а голова наливалась свинцом. Добро и завистливо вспоминал он отца и мать: при всем их пьянстве, иногда и беспробудном, дома всегда было что поесть.

Работы не было и не предвиделось. Две статьи трудового кодекса, записанные рядом, в январе и марте, отвращающе действовали на кадровиков, и если январская 31-я благопристойно указывала, что молодой специалист отработал после института три года и увольняется в поисках лучшей доли, причем по собственному желанию, то мартовская 33-я (пункт 3) оповещала все отделы кадров о том, что специалист систематически не исполнял обязанности, за что и был выгнан. При редких расспросах Алеша молчал, потому что сам толком не знал, за что он, все в НИИ исполнявший, был все-таки вышиблен оттуда, чему профком не воспротивился,

и если тогда, перед увольнением, возмущался бездействием обязанных защищать его, то теперь, изучив законы о труде, с некоторым ошеломлением понял, что все заботы о трудящихся власть возложила на профсоюзы, ей же подчиненные и преданные, и в тяжбах с государством рассчитывать надо только на себя. Никаких надежд не питал он и на помощь со стороны, тянуться к дающей руке не хотел и не мог – и не из самолюбия, и не потому, что ничего ответного в своей руке не держалось; родители научили его никогда никого не просить ни о чем: слишком часто унижались они сами, выпрашивая у соседей в долг до получки, лились нередко и слезы, когда молили кадровиков простить прогулы и пьянство.

Мог бы помочь дядя Паша, старый друг отца, но ехать к нему и просить было нельзя. Дядя Паша не любил слабых и бедных, острый глаз его увидел бы в Алеше голодного и нищего.

В метро он не спускался. В перепутанном клубке автобусных маршрутов передвигался бесплатно, пятак в кассу не бросал, незаметно и зорко высматривая среди пассажиров тех, кто мог, показав жетон, превратиться в контролера со штрафной квитанцией; с одного взгляда научился он определять их и выпрыгивал из автобуса в тот момент, когда они туда заходили. Напружиненное внимание сделало его очень осторожным, чутким, скрытным, и он понимал уже, что останется таким навсегда, потому что стал замечать за собой кое-какие входящие в привычку странности. Идя по

улице, он вдруг ни с того ни с сего начинал убыстрять или замедлять шаги, нутром чувствуя опасность, исходящую от некоторых прохожих. Перед уходом из дома выключал не только электричество, что само по себе обыденно и нормально, но и газ – поворотом вентиля за плитой. Более того, вентилями он перекрывал и воду, как будто опасался, что кто-то проникнет в его квартиру и унесет единственное, что у него имелось в достатке, а телевизор смотрел при отключенном звуке, чтоб ничем не обнаружить себя, чтобы не открывать дверь, если позвонят. Прийти же могла власть – милиция, ЖЭК, соседи – и покарать его. По разным, несть числа им, законам человек обязан был трудиться, от увольнения с одного места работы до приема на другое Моссовет отводил четыре месяца, ни днем больше. Высылка из столицы, тюрьма за бродяжничество, лишение прописки, ссылка за тунеядство – таков был неполный перечень наказаний, грозивших Алеше, и что придумает власть дополнительно или уже сочинила, знали немногие знатоки неофициального трудового права.

Их он нашел у дверей районного бюро по трудоустройству, о существовании которого до весны не знал. Правда, еще зимой заметил, что с досок объявлений исчезли разноцветные листочки с бросающейся в глаза фразой: «Предприятию требуются работники следующих специальностей...» Телефон и адрес тоже указывались в этих открытых призывах, и когда предприятиям вдруг ничего не стало требо-

ваться, когда со статьей 33-й набегался, то уразумел: отныне между ним и работой – некая посредническая контора, за свои услуги получающая с предприятий деньги. Приемная комиссия, из кадровиков района, заседала три раза в неделю, но в том-то и дело, что никакой обязательной силой комиссия не обладала, приходилось самостоятельно искать работу, которая задним числом оформлялась так, будто ее нашло бюро. Странное, поражающее бессмысленностью заведение, украшенное плакатом, на котором лучезарно улыбались рабочий и работница, напоказ держа в руках трудовые книжки, коими следовало гордиться, но некий злонамеренный шутник уже испоганил их, внося в книжки записи чернильным карандашом. «Ст. 33 п. 4» – этим теперь гордился рабочий, уволенный за прогул. Работница же была из недавнего прошлого, она восхищалась статьей 47-й старого КЗоТа, которая для безработных звучала, как некогда громкая уголовная 58-я. Пожалуй, всей площади плаката не хватило бы, чтоб разместить на нем только законоположения текущего года, карающие и бичующие, распространявшие власть этого бюро и на тех, кто дважды в году уволился по собственному желанию, – так боролись с летунами. Для ловли простаков за стол комиссии посадили и милиционера, но, даже не будь его, Алеша все равно не переступил бы порог. Добрые дяди в комиссии всех с 33-й статьей включали в списки, отправляемые в милицию, и уж та глаз не сводила с подозрительных, участковым к тому же ежемесячно спускался план по отлову

тунеядцев. Сколько помнил Алеша, отец и мать постоянно удерживались во всех списках, были на учете и в неврологическом диспансере.

Найти работу, так и не засветившись в бюро, — такую задачу поставил себе Алеша и ходил по отделам кадров.

Он оброс и нарастающие волосы обстригал ножницами, пачка лезвий сохранилась каким-то чудом, но смотреть на себя в зеркало было противно. Лицо исхудало, щеки впали, от постоянного пребывания на открытом воздухе Алеша загорел, ветры и солнце сделали кожу красноватой, встречные могли подумать, что он застарелый пьяница. Окончательно развалились полуботинки, приходилось обувать старые, ссохшиеся; пальцы ног, искривленные ими, ныли, прели, и вечером, в изнеможении добравшись до дома, Алеша погружал ноги в воду, чтоб снять носки. Он ежедневно мылся под душем, дважды в неделю стирал трусы, майку и рубашку и все же чесался, казался себе грязным и со страхом ждал часа, когда в волосах и на одежде зашевелиятся вши, потому что они не столько от грязи, сколько от неустроенной жизни, той, где нет ни еды, ни осмысленной работы. Квартира, которая так радовала когда-то, удручала убожеством того немногого, что находилось в ней. Вещи никакой ценности не представляли, никто не дал бы за них куска мяса, столь нужного сейчас. Ни лишнего костюма на продажу, ни рубашки, без которой можно обойтись, и хоть ветхая мебель какую-то часть пространства заполняла, квартира выглядела пустой. Книг



в доме не водилось, покупать их было бессмысленно; однажды Алеша вернулся с лекций (два курса учился на дневном) и удивился: родители, малость пьяненькие и слезливо добренькие, при виде его всполошились, будто застигнутые на чем-то нехорошем. «Алешенька, Алешенька, вот садись, покушай...» – засуетилась мать, стыдясь чего-то, а потом накинула пальто – и следом за отцом, к двери, на улицу, и только поужинав, он сообразил: продали шеститомник Куприна, купленный им недавно, после двух ночей на разгрузке вагонов; с тех пор ни одна стоящая книга не приживалась в доме, но и гнева на родителей не возникало. Впрочем, будь книги в доме, он сейчас не понес бы их в букинистический, оказавшись в голоде и без денег: тащить из дома вещи означало походить на алкашей, не хуже воров чистивших свои квартиры.

Что особенно удручало и что бесило, так это то, что сейчас в квартире не найдешь и крупинки еды, а мать ведь пополняла, протрезвившись, истребленные в загуле запасы продовольствия, и на черный день всегда хранились крупы, сахар, чай, соль и спички; смерть матери не прервала обычая, отец, уже в этой квартире, подкупал гречку и пшено, в морозилке, если порыться, прятался сморщенный кусочек мяса. Теперь же – пусто, временами казалось, что квартира ограблена, ведь сколько же еды было еще в феврале, в марте Алеша выжимал из бутылки последние капли растительного масла, в мае пил чай, вытряхивая из коробочки сизо-черные чайники. Ужин сегодня – кусочек булки, завернутый в носовой

платок, да стакан горячей воды, и, глядя на экран немого телевизора, Алеша вспоминал отца, уже не пьющего в последний свой год, дрожащие глаза его, частые сидения у окна, неотрывный взор его... Куда, куда смотрел он? О чем думал? Знал ведь уже, что умирает, что мотыльком, как все люди, просуществовал какое-то время на земле, что-то сделал за куций промежуток между рождением и смертью. Авиапассажир на горящем самолете успевает за минуту или полторы – исступленно и порывисто, комками и связно – подвести итоги кончающейся жизни, и о чем, интересно, думают погибающие люди в эти растянутые мгновения? А отцу были отпущены месяцы, и каждый последний день жизни он размышлял о прожитом, поставив локти на подоконник, спичкой выковыривал из мундштука окурки и переправлял их в самодельную, из консервной банки, пепельницу. Не о куске хлеба думал он, конечно, не о водке. Он тосковал по свободе, по умению или праву человека жить так, как ему хочется, и что такое свобода – только сейчас начинал понимать Алеша. Он – голодный, нищий, безработный – был в эти месяцы свободным! Он не вскакивал по утрам при звоне будильника, не торопился к проходной, над ним не жужжали рои надзирателей, и его не пинали начальники, он вольно, по своему хотению, определял, что делать ему сегодня, а что завтра. Он хозяйствовал и над временем, и над телом своим, и тем острее было ощущение свободы, что надвигался, подступал несчастный день конца июля, когда придется выдать себя,

предъявить документы этому бюро и попасть, в сущности, под административный надзор.

На бараночной фабрике его подвергли перекрестному допросу, здесь позарез был нужен инженер-электрик, но не стая в трудовой книжке отпугнула местное начальство. Платили на фабрике ужасающе мало, зато позволяли умеренно красть сливочное масло, сахар и муку – умеренно, иначе фабрику разворовали бы, и допрос показал, что красть даже по мизерной малости Алеша не станет, и ему отказали, отнюдь не по пункту 3 статьи 33-й, а сославшись на старое постановление СНК. Мягкие, обходительные люди, вежливые и скромные начальники, не без сожаления вернувшие Алеше паспорт, трудовую книжку и диплом.

Он сунул их в нагрудный карман рубашки и поспешил на улицу, ругая себя за ошибку: здесь пахло сдобой, выпечкой, и взбунтовавшийся желудок тут же отомстил, колючий комок боли уперся в селезенку, тыкался в нее, царапаясь о ребра.

Автобус только что ушел, ждать следующего, высматривать контролеров – на это уже не было сил, и Алеша решил перейти реку Сетунь, протекавшую внизу, в овраге, чтоб кратчайшим путем добраться до Можайского шоссе. Предстоял еще один безрезультатный заход – на ткацкую фабрику. От реки повеяло чем-то умиляющим, сытым, запахло влажной зеленью. Мостик, скрипучий и узкий, стал вдруг раскачиваться, Алеша вцепился в ограждение, поняв, что

это он, обессиленный и голодный, не держится на ногах, что это его пошатывает. Час назад он истратил три однокопеечные монеты на газировку, теперь она выходила из него потом, соленая влага выжималась телом, носовой платок снял со лба испарину, но шея, грудь, мышцы увлажнились. Алеша обрел сухость, только постояв под ветерком; он огорченно подумал, что вчера пожалничал, ни крошки хлеба не оставив на утро. Наконец он выбрался из оврага и экономным шагом понес себя к шоссе. Район был знакомым, здесь он искал отца, когда тот работал на деревообделочном комбинате. Два алкаша торчали у входа в магазин, но третьего не ждали и не звали, третий, определенно, уже имелся, уже брал бутылку; третий, если он принимал на себя магазинные хлопоты, обычно и одет получше, и потрезвее, в нем дремали качества лидера, ни в семье, ни на работе не проявлявшиеся.

Третьим оказался Михаил Иванович. Это он вышел из магазина, и бутылка вздувала его карман. Выглядел неспившимся: рубашка выглажена, и нет на ней замытых винных пятен, на ногах – удобные и крепкие сандалеты, зато поджигающие его собутельники хотя и смотрелись ханыгами, могли еще сойти за пьянь, державшуюся на плаву. Михаил Иванович, окликнув Алешу и подойдя к нему, с одного взгляда на документы в кармане рубашки понял все и скосил глаза на полуботинки Алеши. «Поправимо...» – негромко произнес он и внятно продиктовал номер телефона для запоминания, потому что ни у него, ни у Алеши карандаша даже не

было. «Завтра позвоните...» И Алеша кивнул. Он смотрел на алкашей, поджидавших Михаила Ивановича, ими определяя человека, обещавшего ему работу. Нет, алкаши эти до ханыжества еще не докатились, пили только на свои, отдавая женам чуть меньше половины заработанного, и опыт заставлял их с подозрением посматривать на Михаила Ивановича, на бутылку в его кармане, потому что ей, бутылке, грозила опасность, в Алеше они зрили соперника, им чудилось покусение на их законную долю: кто знает, тип, у которого бутылка, должен рубль парню и сейчас позволит тому отпить из горла... Так искривились мозги у них, так чудовищно искажали они все простое и обыденное. Но Алеша не чувствовал к ним ни малейшей вражды, потому что смотрел на себя их глазами – и жалел себя, пострадавшего. «Хорошо, позвоню», – тихо сказал он и медленно, сберегая силы, пошел дальше и выше, к шоссе, чтоб автобусами добраться до ткацкой фабрики.

Здесь его ожидал неприятный сюрприз: девица, остро пахнувшая косметикой, сказала, что начальник отдела кадров будет только через час. В просторном холле первого этажа переговаривались люди, веселые и сытые, где-то рядом был буфет. Обоняние, приглушенное головной болью, внезапно обострилось, Алеша представил себе буфетную стойку и сковороду, стреляющую брызгами сала, радостно подумав, что, кажется, подошел конец его странствиям, Михаил Иванович кое-кого действительно устраивал на работу, а раз

так, то часть денег можно истратить, сегодня ведь он еще ничего во рту не держал, та булочная-кондитерская, где продавали сладкий чай, закрылась на санитарный день. Купить немного еды можно. С другой стороны, делать этого нельзя. И вообще совершена ошибка. Те мизерные крохи еды, что поглощал он ежедневно, раздражали и провоцировали внутренности: они, привыкшие за двадцать шесть лет к определенному объему пищи, обманывались крохотными кусочками и свирепо – сами в себя – вгрызались. Надо было либо не есть вовсе, либо кушать помногу один раз в три-четыре дня.

Три вертушки разбивали идущую смену на три потока, Алеша смешался с толпой и оказался на территории фабрики. Оглядевшись, он понял, что стоит у клуба, где что-то происходит, и вошел в небольшой зал с рядами стульев, сел, а когда рассмотрел на сцене людей и прислушался к разговорам, то последние сомнения отпали: выездная сессия народного суда. С наслаждением вытянув ноги, он пригнулся и расслабил шнурки, устроился удобнее и закрыл глаза, но тут же открыл их, когда услышал, что парня, которого судят, на фабрику направило бюро по трудоустройству, поскольку с предыдущего места его уволили по 33-й, и о чем бы потом ни говорили на сцене и в зале, он выбирал из слышанного только то, что было одинаковым для него и для парня, укравшего четырнадцать килограммов медицинской пряжи. Подсудимый сидел сбоку от столика, покрытого зеленым сукном; положив руки на колени раздвинутых ног, он внимательно

слушал, ни словом, ни жестом не возражая и не подтверждая. Зал оживленно комментировал произносимое со сцены, и Алеша узнал, что четырнадцать килограммов весила не пряжа, на столько тянули три бобины с нею, и парень спер эти бобины не из кладовки да еще ночью и с отключением хитроумной сигнализации, а просто-напросто подобрал на мусорной свалке, куда сносили фабричный брак, среди бела дня подошел и поднял, как это делали многие; следствие и суд потому вцепились в эти три бобины, что первоначальное обвинение в краже двух кип шерсти не подтвердилось. Прокурор, в тужурке с петлицами, долго клеймил парня, на которого администрация дала крайне отрицательные характеристики, совпадающие с тем, что думала о парне милиция, а думать о нем хорошо она не могла: у парня нелады с нею чуть ли не со школы рабочей молодежи, в ПТУ он тоже пошаливал, дважды привлекался по мелкому хулиганству и вообще на язык дерзок. Пять лет потребовал прокурор, и по залу пронесся легкий шум, смысл которого был в том, что на выездной сессии пощады не жди. Предрешенность показательного судилища была очевидна и парню, на все вопросы судьи он отвечал односложно – «да» или «нет». Зал затих, затем одобрительно взметнулся оживлением, когда заговорила звонкоголосая девчонка, адвокат, заявившая, что место проведения суда не дает права беззаконничать никому, и отчеканила свои доводы в пользу подсудимого. Она, говорила она, не глядя на бумажку, происходит из неблаго-

получной семьи, мать и отец – профессиональные, так сказать, алкоголики, поскольку не раз привлекались к принудительному лечению, о чем в деле (том третий, лист пятнадцатый) имеется соответствующий документ. Во-вторых, неверно квалифицировано преступление и ошибочно определена сумма имущественного ущерба (приводились цены, оптовые и розничные). В-третьих, обвинение в спекуляции основано на домыслах и фактами не подтверждается: по материалам следствия известно, что подсудимый ничего не покупал и ничего не продавал, но даже если и следовать абсурдной логике обвинения, то весь ущерб исчисляется суммой, не превышающей пятидесяти рублей, и административное взыскание – единственное, чего заслуживает подсудимый. В-четвертых, опознание свидетельниц произведено с грубейшими нарушениями процессуальных норм...

Девушка потребовала немедленного освобождения из-под стражи и села, открыла сумочку, глянула в нее и завела за ухо прядочку русых волос. В этот момент парень впервые глянул в зал, презрение было во взгляде и насмешка. Был он примерно такого же, как и Алеша, роста, но не столь худощав, раздат в плечах, очень крепок и красив. Несколько раз произносилась его фамилия, даже много раз, но она Алеше почему-то не запомнилась; о том, что парня зовут Геннадием, Геной, он узнал в курилке, здесь говорили откровенно и утверждали знающе: да, воровал Генка, воровал, иначе б не таскался на работу в дакроновом костюме и не катался б на



такси. Тюрьма ж вообще по нему плачет. Не раз мог залететь туда по 206-й, а если копнуть поглубже, не только пряжа отыщется за Генкой, не только! Сам виноват, очень загордился, делиться не стал наворованным, вот свои и заложили...

Официантки пили компот и говорили примерно о том же, разворачивая тему по-женски: с кем путался Генка, кто из баб переправлял отрезы через проходную. Еда в столовой кончилась, все съедено в обед, только к вечерней смене будет – услышал Алеша, но не уходил, рассматривал официанток, определяя, какая из них наименее опасна, и выбрал безошибочно. Полная круглолицая женщина пошла к котлам, от которых несло сытным запахом гречневой каши, и наскребла в тарелку что-то вкусное, политое затем соусом. Сев за кассу, добрая женщина выбила три чека, смахнула их в ящик под коленками и сама же наполнила кружку чаем. Кроме трехрублевой бумажки, на которую Алеша предполагал прожить десять дней, в маленьком кошелечке была припрятана мелочь: две монеты по пятнадцать копеек и одна двадцатикопеечная, их он и выложил на тарелочку перед кассовым аппаратом, аккуратно, столбиком, и женская ладошка сбросила монеты в ящичек под кассой, откуда и сдача пришла, пять копеек, – да, дешево все-таки кормят в фабричных и заводских столовых. Каша с кусочками мяса давно уже остыла и тем не менее обжигала рот радостно и приятно; пользуясь тем, что официантки его не видят, он хлебом очистил тарелку, подумав, что есть надо было медленно, хорошо прожевы-

вая. Чай допит, хлеб съеден, один кусочек незаметно уложен между трудовой и дипломом, пора вставать и уходить, да и официантки, что за спиной его пили компот, косточки выплевывая на стол, уже почуяли в нем что-то нехорошее, Алеша позвонками, кожей ощущал их враждебность. Он встал и быстро вышел. Сытость ошеломила его, изменив планы. В отдел кадров решено было не ходить. На пути к проходной он дважды останавливался, всем телом чувствуя, как всасывается пища, он слышал ухающие звуки живота, кряхтение мышц, прорывы газов, стенание кишечного тракта, отвыкшего от нагрузок.

Суд уже кончился, приговор оглашен, и о нем говорили на автобусной остановке. Два года – это не срок, Генке повезло, ни одна баба перед ним не устоит, адвокатша постаралась, мизер отмерили Генке, скоро выйдет, если будет по-умному себя вести, но в том-то и дело, что Генка (вновь прозвучала фамилия, и опять Алеша не запомнил ее) по-хорошему жить не умеет, пригибаться не любит, прет всегда напролом, спорит до хрипоты, настаивая на своем, и не через два года выйдет он на волю, а надолго задержится там, у хозяина.

Было самое безопасное для поездок время, в переполненные автобусы контролеры не влезали, пятак у Алеши был, он решил было купить на него четвертинку хлеба, но аппетиты его разгорелись, четвертинка выросла до половины буханки с кульком сахара. Благоразумие все-таки взяло верх, ведь неизвестно еще, когда получит он работу, обещанную

Михаилом Ивановичем, и будет ли она, эта работа. Пять копеек на хлеб и четырнадцать на папиросы – это все, что может он позволить себе.

У самого дома силы оставили его, он, весь потный, сел на скамеечку. Он слышал в себе зубовой скрежет хищника, разъяренного малостью куска, просунутого сквозь прутья решетки, и таким же хищным казался ему дом, в котором он прожил почти четыре года, так ни с кем не познакомившись, девятнадцатизэтажная башня, по недоразумению впуславшая в одну из квартир отца с Алешей. В гости здесь не ходили, довольствуясь встречами у подъезда, в лифте, общую принадлежность к дому и территории подтверждая растягиванием рта в улыбке. Там, в старом доме, к соседям забежали по любому поводу: позвонить, похвастаться купленным платьем, спросить, пишет ли сын из армии.

Нашлись наконец силы, Алеша пошел к подъезду. В кабине лифта вместе с ним ехала женщина, жившая двумя или тремя этажами ниже, и было неприятно выдерживать присутствие этой пропахшей пирожками особы. Рука ее заблаговременно полезла в сумку, за ключами, но их там не оказалось. Женщина сморщила лоб, вспоминая, проверила, не сбоку ли сумки они, и вновь ошиблась. Не зазвякали ключи ни в маленькой сумочке под мышкой, ни в кошелечке, и, лишь еще раз порывшись среди пакетов, кульков и свертков, женщина нашла ключи, и Алеша отвел глаза, облегченно вздохнув.

И в наружном кармане сумки, когда там искали ключи, и в сумочке поменьше, и в кошелечке – везде и всюду Алеша видел смятые, сложенные и скомканные денежные купюры, и денег было так много, что, пожалуй, сама женщина не знала сколько, потому что привыкла к обилию их, считала деньги с точностью плюс-минус двести рублей и в любой магазин заходила, уверенная в том, что купит нужное; деньги эти несчитанные были для нее, если вдуматься, лишними. Но деньги эти же для кого-то – спасение от голода, от страха, деньги эти, короче, самой жизнью, которая обязана быть справедливой, предназначены не этой богатой женщине, а другим людям, хворым и бедным, без обуви...

Как только эта мысль коснулась Алешы, лифт остановился, выпустив женщину, двери сдвинулись вновь, и Алеше услышалась фамилия того парня, которому дали два года в колонии общего режима, и по тому, как улеглась она в памяти, не растолкав другие имена и фамилии, а устроившись на будто бы приготовленном месте, понял, что отныне она связана с его жизнью.

Колкин Геннадий Антонович, русский, беспартийный, родившийся в Москве 17 марта 1950 года, неженатый, окончил СПТУ в 1971 году, то есть незадолго до того, как Алеше выдали диплом с отличием и выпустили в свет, в большое инженерное плавание.

Назавтра он позвонил Михаилу Ивановичу и сразу же поехал в Чертаново, на завод, где был немедленно взят на ра-

боту, заместителем начальника электроцеха; оклад 140 рублей, прогрессивка 40 %, к обязанностям можно приступить сегодня же; «Принят по направлению районного бюро по трудоустройству», – успел прочитать Алеша в своей трудовой книжке, когда кадровик заполнял ее, хотя никакого направления не было. По совету Михаила Ивановича держался Алеша смело, попросил выдать ему двадцать рублей в счет полочки, и просьбу удовлетворили без проволочек. Вошел в цех и стал свидетелем комической сцены. Начальник цеха, мужчина дородный, властный, наставлял сильно пьяного рабочего, который вздумал оправдываться тем, что выпил-то всего один стакан. «Да выжри ты столько – я б и слова не сказал, я б тебя и не заметил!» – урезонил его начальник и повел Алешу в свой кабинет, обыкновенную конторку с тремя столами и шкафом, бумаги откуда выпирали, как пружины из выброшенного на свалку матраца.

Три дня Алеша сидел над схемами, ходил, присматривался к цехам, расспрашивал и впадал во все большее уныние. Каждую смену здесь что-то с грохотом ломалось, лопалось или взрывалось, воздух отравляла вонь химикатов, на гальванике задыхались от едкого смрада, но вентиляцию так и не установили, потому что все трудовые дни уходили на ремонт чего-то недавно привезенного и негодного. С семи утра до половины четвертого – тысячи бесполезных слов, перемещений, приказаний и распоряжений, завод будто под бомбежкой работал: траншеи, вырытые для кабельных трасс, так и

не засыпались, создавая полную иллюзию конца производственного света. Изрыли, кажется, всю территорию, но для каких-то новых надобностей появлялся вдруг экскаватор с ковшом и рвал старый кабель, неизвестно когда и кем проложенный, два или три цеха немедленно останавливались, лишённые энергии, электрики навешивали воздушную линию питания, времянку, которая становилась постоянной. Чтoб охладить воду в литьевых машинах, купили итальянский рефрижератор, но почему-то без электроники. Станки ломались так чудовищно, что ремонту не подлежали.

В этой вакханалии Алеша, если сваливался с ног окосевший газосварщик, сам брался за горелку, не хуже любого монтажника крепил арматуру и разделявал кабели, и все равно чувствовал, что он – лишний здесь, что не прижиться ему к этому заводу. После четырех часов дня в цеховую конторку набивалась местная пьянь, инженеры, техники и мастера, на столе – бутылка со спиртом и графин с газировкой, дармовая выпивка. Не уходи, задержись в конторке, напрасно говорил Алеше здравый смысл, приложись к спирту, вымажись вместе со всеми в грязи – и тебя стороной обойдут все беды и напасти, тебе надо выжить, одиннадцать месяцев отводилось на выживание, по прошествии их положен отпуск, итого ровно год, дающий право искать работу по собственному усмотрению, минуя эти гнусные бюро.

Выжить! И помочь несчастному Михаилу Ивановичу, который вообще не умеет просто жить, который неизвестно ко-

го спрашивает: за что я страдаю?

Правы были те из алкашей, что причисляли Михаила Ивановича к обитателям «царского села». Там жил он, с женой и сыном, в трехкомнатной квартире, но после скоропалительного развода нашел пристанище в холопском, так сказать, доме, обрел жилплощадь – отдельную квартиру. Краны текут, потолки высокие и закопченные, электропроводка наружная, пол дощатый, подоконники облупленные. На шкафу – шесть чемоданов, книжных полок нет, в квартире еще не устоялся порядок, при котором каждая вещь знает свое место. В хозяйственном магазине Михаил Иванович купил посуды, и Алеша брезгливо рассматривал неиспользованные тарелки, ни разу не мытые миски, кастрюли без пригара, царапин и трещин, сковородки, не прожарившие на себе ни куска мяса. История второй жизни Михаила Ивановича еще не начиналась, а она – в кухонной утвари; надбитый носик заварочного чайника и погнутые зубья вилки напоминают о днях минувших, в любви к старым кастрюлям есть что-то от почитания предков. Алеша еще застал времена, когда по дворам бродили лудильщики, и о давно умершей бабушке напоминали запаянные ими кастрюли.

В этой квартире стал часто бывать Алеша. Подружиться они не могли, сказывался возраст. Михаилу Ивановичу было уже за пятьдесят, родился он в интеллигентной семье, пра-



родители из разночинцев. Учился в МГУ, работал потом в журнале. Женился на сотруднице, девушке активной, хваткой, родила она сына. Михаил Иванович служил отменно, печатался, стали его привлекать к некоторым мероприятиям, особенно удачным был год, когда на самом верху одобрили сочиненный им абзац отчетного доклада, и абзацем этим Михаил Иванович очень гордился, хотя, признавался он, был в пятнадцати строчках один спорный нюанс. Высочайшее одобрение абзаца двинуло Михаила Ивановича вперед, его ввели в группу консультантов, а потом и угнездили в самом аппарате. Признанием ценности нового сотрудника стал переезд в «царское село», семейная жизнь текла спокойно, супруга тоже работала в аппарате, но рангом ниже. Черным днем для Михаила Ивановича стал ничем не примечательный четверг, когда его вызвали вдруг и предложили перейти на другую работу, сказав, что он «рекомендован» такому-то институту на такую-то должность. Михаил Иванович поразился: из аппарата – в низы? За что? За какие, спрашивается, грехи? В полном недоумении обратился к своему непосредственному начальнику, заместителю заведующего отделом, который, выслушав, пришел в негодование и по телефону сурово распек аппаратного кадровика, заявив успокоенному Михаилу Ивановичу, что все в порядке, что недоумение разъяснилось, но впредь... «Что впредь?..» – напугался Михаил Иванович. «Ничего, ничего...» – успокоительно ответил начальник. Михаил Иванович отдышался и

стал жить по-старому, шлифуя абзацы, доводя их до невысказанного совершенства, чего, кстати, как раз и не требовалось – это уже здесь, на кухоньке, стал понимать он. В абсолютном совершенстве и заключалась, видимо, ошибка сочинителя абзацев, они должны быть с некоторой корявинкой, чтоб по ним прошелся с вопросиками мудро заточенный карандаш начальника. Супруге о неожиданном вызове в кадры он не сказал, она очень ревниво относилась к его оплошностям, в гневе бросала обидные для мужчины слова. Но уж второй вызов понудил его все рассказать без утайки, а вызвали опять по тому же вопросу: не желает ли Михаил Иванович укрепить собою полуразваленный участок работы в Академии педагогических наук?

И должность указали при этом ниже той, на которую послали бы его, провинись он громко, скандально. Ничем не выдавая тревоги, Михаил Иванович вновь пошел к своему начальнику и корректно поставил вопрос о доверии. Тот возмущенно заявил, что доверяет ему полностью и не потерпит самоуправства некоторых зарвавшихся кадровиков ни в коем случае. Еще раз обласкав своим вниманием Михаила Ивановича, начальник прибавил в замешательстве, что, пожалуй, надо все-таки наедине с собой поразмышлять и, возможно, согласиться с предложением насчет академии, но если желания идти туда нет, то стоять и упираться надо до упора. Супруга помертвела, услышав о вызове. Она учинила ему допрос, острием направленный на командировку в Польшу:

не ляпнул ли он там чего-либо такого, что... Ничего подобного Михаил Иванович за собою не наблюдал, он всегда проносил рекомендованное и одобренное. Подозрение пало на Венгрию, но и визит в эту страну (в составе делегации), со всех точек зрения рассмотренный, криминала не выявил. По своим каналам супруга исследовала проблему, но так и не пришла к определенному выводу. Меч, нависший над Михаилом Ивановичем, отошел в сторону, целый месяц его никуда не вызывали, но вскоре попытка продолжилась, обещали на этот раз младшего научного сотрудника в институте, который курировал сам Михаил Иванович, и от намеченного разило издевательством. Пав духом, Михаил Иванович срочно взял отпуск, уехал было к морю, но тут же вернулся, потому что поволокло его на место экзекуции.

Он бродил по Москве, допытываясь у себя, что же такого наговорил в Польше и что наболтал в Венгрии. Испытывая муки неведения, Михаил Иванович с завистью посматривал на людей, которым наплевать было и на заместителя заведующего отделом в аппарате, и на самого заведующего. Выгони этих людей с завода – они устроятся на другом, в ус не дую. А встречались и такие бесстрашные граждане, что и на милицию им начхать, знай себе пьют водку в неположенных местах. И потянуло Михаила Ивановича к этим смельчакам, а были те гордые, чужих к себе не подпускали, вот и отважился однажды Михаил Иванович на безумный поступок, откликнулся на призыв: «Третьим будешь?». Присмат-

риваясь и прислушиваясь к собутыльникам, подумал он однажды о путях человеческих, о тех, кто сидит на верхах, и о тех, кто на низах. С самого верха стреляли, и пившие за кустами люди все сплошь подранены шрапнелью, а сам он – такая же случайная жертва, человек, в которого попала пуля из наугад выстрелившего ружья. На месте Михаила Ивановича мог оказаться любой ответственный сотрудник аппарата, случайность эта предусмотрена руководством, организована им, и не жертва он случайности, а герой ее, потому что изгнанием Михаила Ивановича завершена тщательно разработанная операция, произведен маневр, ставящий своей целью дальнейшее совершенствование государства Российского. Страна развивается не гениальными озарениями выпестованных одиночек, а кропотливым примитивным трудом миллионов, и люди в России – муравьи, а муравей поднимает тяжести впятеро, вдесятеро больше собственного веса. С точки зрения науки, муравьи, транспортирующие соломинку, прикладывают к ней разнонаправленные усилия, по законам механики бессмысленные. И тем не менее соломинка переносится, и, чтоб такое чудо происходило ежедневно, ежемесячно и в каждый завершающий год пятилетки, муравьям надо подчиняться не законам механики, а постулатам муравьиной кучи и жить под страхом наказания, слепого и беспощадного. Так и в аппарате. Сотрудник, долго сидящий на одном месте, смотрит на мир глазами маленького социума, блюдет интересы только своего ведомства, живет под

защитой его и – теряет бдительность, сноровку, квалификацию. Если же вдруг его выгоняют – без объяснения причин, без вины и без повода, – то глаза уцелевших становятся зорче, люди каждое словечко свое начинают вымеривать по законам большого социума, муравьишки с еще большим рвением хватаются за соломинку.

Оправдывая своих начальников, Михаил Иванович прощал, по тем же муравьиным постулатам, и супругу, уже бывшую, уже вышедшую замуж. Зачем он ей, раз вокруг муравьи, на которых еще не пал жертвенный жребий? Тягостнее и непонятнее было с сыном, этот уход отца он принял по-своему: «Предатель!» Заключалось предательство в том, что падение отца закрывало перед ним двери Института международных отношений. Михаил Иванович подсуетился, спасая сына, напомнил кое-кому о бывлых благодеяниях своих, сын все же поступил, а как уж там он учится – неизвестно, Михаил Иванович покинул «царское село» в декабре, бывшая супруга устроила такой раздел имущества и такой обмен квартирами, при которых ничуть не пострадала. Райком партии, помурыжив Михаила Ивановича несколько месяцев, дал ему наконец работу – методистом в вечернем университете марксизма-ленинизма.

О семье он рассказывал кратко, смущаясь, горестно покачивая лысеющей головой. В затяжных паузах бросал на Алешу взгляды, призывавшие того к лирическим расспросам, к разговорам о женщинах, которые в отличие от бывшей су-

пруги когда-то беззаветно любили Михаила Ивановича, да и сейчас, возможно, согласны переместиться из ада в рай (или наоборот) и понести вместе с ним тяжкий крест изгнания. Намекал и о ребенке, рожденном вне брака и неизвестно где пребывающем ныне.

У начинающих алкоголиков такие слезливые воспоминания обычны, Алеша был ими сыт по горло, да и сам Михаил Иванович раздражал – грязью в квартире, болтливостью, неумением стирать и гладить, копить деньги и тратить их. В холодильнике – одна закуска, в дом, правда, алкаши не приводились, Михаил Иванович пил с ними в овраге, душу отводя в квартире, постоянно разыгрывая одну и ту же сцену – разговор со своим начальником, причем сам Михаил Иванович, прямой и честный, разительно отличался от вероломного шефа. Мимика у него была богатой, жесты оттачивались с каждым новым повторением, голос работал во всех регистрах, от нежнейшего шепота до львиного рыка, фраза начальника «но впредь...» звучала особо издевательски. Верный себе, Михаил Иванович и под сцены эти подвел теоретическую платформу. Аппаратные игры-спектакли якобы – это внутренняя потребность данной организации, массовый театр всегда сопутствует революционному обществу, и сколько же агитколлективов шныряло по России в годы Гражданской войны, какой расцвет театральных школ, сколько дурных драматургов стали правителями после Бастилии и Зимнего!..

Все теории Алеша пропускал мимо ушей, его судьба не укладывалась ни в одну из них. Выжить надо, выжить – и уж потом разобраться, где закономерность, а где случайность.

Сам он готовился к худшему, в столах на кухне – пакеты с мукой, рисом и гречкой, чай и сахар, соль и спички. Жизнь на заводе становилась опасной и невыносимой, Михаил Иванович предупредил: товарищ из горкома, приказавший директору взять Алешу на завод, пошатнулся, где-то сказав что-то не то, и на поддержку его рассчитывать нельзя. Январь... Февраль... Чуть ли не по дням мысленно загибал Алеша пальцы и понимал, что только чудо спасет его от 33-й. Иногда конторка напивалась сразу после обеда, идея радикального переустройства мира овладевала начальником цеха, Алеше приказывалось: передвинуть верстаки, срочно сменить воду в аккумуляторах, недалек был день, когда его заставят удлинять заводскую трубу.

Он прятался от начальства в эти часы, нашел курилку в самом грязном цехе и посиживал в ней, время от времени обходя завод и подсказывая электрикам, что и как надо делать. Потом вообще перестал появляться в конторке, да туда и заглядывать было страшно. Новая кладовщица тащила начальству письменные приборы, трехпрограммные радиоприемники, материю на шторы, стулья, утюги, и мастера забирали пригодное для дома имущество. Много других ценностей безнадзорно валялось на заводских дворах, на мусорных свалках, и Алеша, глядя на добро, лежащее без приме-

нения, вспоминал женщину в лифте, кошельки и сумочки ее, где точно так же невостремованно прятались денежные купюры. И Геннадий Колкин тут же возникал в памяти.

Март, апрель – и беда, которая маячила где-то, стала приближаться, становясь неотвратимой.

Конторка писала донос, конторка схлестнулась с более могущественной группировкой таких же любителей пить не на свои деньги, и этих высокопоставленных алкашей поддерживал, по слухам, сам директор, элитной пьянью руководили главный инженер и вальяжная дама из отдела труда и зарплаты. В отличие от конторки, пьянь эта собиралась почти открыто, хранила в сейфах изобличающие начальника цеха документы, отнюдь не поддельные, и воровала по-крупному, торгуя профсоюзными путевками. Закипели страсти, конторка добыла неопровержимые свидетельства того, что дачный участок директора обнесен заводским стройматериалом. Когда Алеше придвинули к подписи коллективный донос, он молча встал и ушел, зная, что дни его сочтены. И злился на себя: мало, мало еды заготовлено! В любом случае растопчут его, прежде всего – его! Разнимать алкоголиков прибудет комиссия, она-то и обнаружит, что никто не направлял сюда инженера А. Родичева, а телефонную просьбу к делу, как говорится, не пришьешь.

В полном смятении поехал он к дяде Паше, в старый дом. Был вечер воскресенья, тепло, у голубятни сидела обычная компания, чуть поддтая, в магазин за подкреплением



пославшая гонца. Алеша слушал новости и смотрел, смотрел на дом. Сюда, к этому дому, привез он отца из морга, чтоб тот простился с ним, и дом проводил отца в последний путь, – сюда привез, а не в новый дом, где жить отцу было тяжело. И гроб с матерью пять лет назад стоял перед этим подъездом. «Пепелище... – подумалось почему-то Алеше. – Родное пепелище...» Все родное, все понятное и нелюбимое, не дом, а крепость – со своей охраной, со своими законами и беспрекословным подчинением, и когда однажды Валерка из первого подъезда выиграл в лотерею тысячу рублей, то счастливец, кроме радости, испытал и сомнение: а как дом отнесется к этой прорве денег? И на полтыщи закупил водки, поил всех, будто оправдываясь... «Пепелище...» Над головой гулькали голуби, осторожно подергивая крыльями.

Самую свежую новость принес гонец вместе с водкой: час назад милиция взяла братьев Корнеевых, обоих, и новость компания приняла так, словно гонцом сказано было, что завтра утром встанет солнце. Братьев должны были взять – об этом говорили еще вчера, когда Корнеевы начали у магазина продавать коньяк по госцене, по 4 рубля 12 копеек, и на что понадобились им срочно деньги – тоже говорили: братья недавно от хозяина, ребятам надо приодеться, выпить опять же, они и ломанули на прошлой неделе палатку, взяли пять ящиков коньяка и три короба с конфетами, чисто взяли, ни одна собака не привела бы милицию на их квартиру, где коньяк и конфеты лежали открыто, пей да веселись, но стиль-

ным братьям захотелось пофорсить перед девчонками, а денег нет, вот и начали сдуру сбывать коньяк, и не надо никаких сексотов, участковый живет рядом с магазином – так рассудила компания у голубятни.

Когда показался идущий с работы дядя Паша, его не окликнули, не подозвали, удовлетворились тем, что и он их заметил. Проводили его доброжелательными взглядами, не без зависти: крепкий мужик, самостоятельный, твердо стоит на земле, инвалид, без трех пальцев на правой руке, но голова золотая, к ракетному производству допустили, далековато, конечно, от дома, работа полуторасменная и ежедневная, непрерывный цикл производства, наверно, зато и отпуск соответственно – три месяца зимой, проводит их он у моря, частично с Натальей Соколовой, с которой и живет, с которой, возможно, и расписался.

Стемнело уже. Бутылку допили и разбежались. Алеша выждал еще немного и направился к дядя Паше. Уже предупрежденная Наталья открыла дверь, не спрашивая, но глаза – как у автобусного контролера, и Алеша, стараясь на нее не смотреть, прошел в комнату. Дядя Паша сидел в кресле под торшером, читал газеты. «Всегда рады... – пропела сзади Наталья. – Будь, Алеша, как дома». И стала подтаскивать закуску. На сервировочном столике – вареная телятина, копченый угорь, желтые груши, икра и балык. Напитки: французский коньяк, рижский «Кристалл», эстонская водка, – и дядя Паша, по любому поводу всегда припоминавший

нечто курьезное или житейски полезное, поведал: рижский «Кристалл» делают из зернового или зернокартофельного спирта, в московский же, поставляемый в Америку, добавляются биологические компоненты. Сказал и двумя пальцами правой руки, большим и мизинцем, обжал бутылку, наклонил ее, стал разливать. Рука действовала, как ухват, нелепостью движений напоминая конечность робота. Выпили. Наталья, паспортистка в ЖЭКе, могла равно обляять и старуху, и участкового, но в доме остерегалась говорить громко, из комнаты вышла, осторожненько позвякивала посудой на кухне. Опять выпили и опять поели. Здесь любили тишину: телевизор молчал, рыбки в аквариуме разевали рты. Безмолвствовали и книги – единственное увлечение дяди Паши, ради них не собиравшего монет и марок, чтоб по следам раритета к Наталье сдуру не залетела Петровка, о которой как раз заговорил дядя Паша. Дело в том, сказал он, что в столице, как известно, намечена Олимпиада, милиция, следовательно, начнет трясти мирных граждан, по самым скромным подсчетам, из Москвы будет выселено сто тысяч человек, преимущественно тех, на кого у милиции зуб, и на этот ответственный период человеку надо иметь крепкий якорь, то есть хорошо документированную работу, не говоря уж о прописке, у человека должна быть нора.

Этим словом дядя Паша гордился; один знакомый философ назвал его основателем теории норизма.

– Нора, – назидательно определил дядя Паша, – это не

только ячейка производства, где оптимально сочетаются интересы работодателя и нанятого им человека. Это такое углубление в бетонной тверди общества, которого пока не видят милиционеры и прокуроры. Замечу, шероховатость сия, законом не предусмотренная, способствует прогрессу. Не может быть, к примеру, идеально гладкого шоссе – шины автомобилей станут скользить по нему... Нора, кстати, понятие не только социальное, но и биологическое, даже психобиологическое, в этологии явление это описано подробно, хозяин норы обладает преимущественным правом на нее, в чем и сказываются приоритеты природы, и редкий хищник осмеливается нарушать эти права. Ты знаешь, где я работаю, – закончил дядя Паша, – ее, эту работу, я и считаю норой. Да, мне приходится нелегко, меня временами пинают, но норой моей никто не пытается завладеть. А как у тебя?

Алеша молчал, прислушиваясь к шумливой воде на кухне и присматриваясь к сизому дымку «Честерфильда». Упоминание о том, где работает дядя Паша, было очень кстати, разрешалось говорить напрямую, и Алеша сказал, что на заводе у него пока все нормально, однако пора уже подыскивать другое место, и чем скорее, тем лучше, хотя поиски будут трудными, потому что проблема, с какой столкнулся Алеша, чрезвычайно остра и необычна, сугубо индивидуальна и заключается в том, что на двадцать восьмом году жизни в психике его произошли необратимые изменения: он стал ненавидеть всех своих начальников, всех! Да, ненавидеть! Он на

них посмотрелся. Они сплошь мелкотщеславные людишки со склонностью к алкоголизму и физически ущербные, интеллект их подменен хватательным рефлексом, и нет вообще порока, которого не было бы у них. Жить с ними он не желает и не хочет! И не может! Поэтому ищет работу без них. Они, конечно, всегда есть и всегда будут, руководители эти, такова уж иерархия любой стаи, человеческой тоже, но работа нужна такая, чтоб начальниками не пахло! И такая работа, слышал он, существует; некая контора прямо на дом высылает своим сотрудникам гору прессы с вежливым письмом: просим вас изучить присланные материалы и дать обзор по такой-то теме. Сотрудник изучает, пишет обзор, заклеивает конверт и отправляет его почтой, в ответ получая денежный перевод.

Чрезвычайно внимательно выслушав, дядя Паша сказал, что Алеша – на правильном пути, контора такая есть, она тешит самолюбие кумиров, артисты и литераторы интересуются, много ли пишут о них газеты. (Алеша помотал головой, отказываясь.) Совершенно верно, согласился дядя Паша, нужна более интеллектуальная шарашка, и такая существует, но не работать в ней Алеше. Она – секретная, она обслуживает других кумиров, она – для правителей, а они обязаны знать все, но они же и боятся знать все, поэтому в исследовательские центры нанимают людей, умеющих искажать правду. Не лучших людей берут, иногда и тех, у кого замарана биография. Но именно Алеше туда не попасть.

Над госбезопасностью есть еще одна инстанция, очень злопамятная. Ей-то и навредил однажды отец Алеши, депутат райсовета, член парткома, слесарь высшего разряда. Тогда в Лужники на встречу с Хрущевым сгоняли тысячи людей – в дни, когда тот возвращался из очередного вояжа, но не всякого пускали на сборища во Дворце спорта. Отца вызвали в райком, вручили пригласительный билет, дали напутствие: по сигналу товарища, сидящего через человека справа, вскочить и заорать: «Слава партии!», после таких-то слов оратора аплодировать. Но что отца тогда потрясло – вменили в обязанность наблюдать за таким-то товарищем, встает ли он, хлопает ли. Отец вспылил и отказался. С того и началось. Из депутатов погнали, из партии выперли, похерили очередь на квартиру. Чувствительная инстанция, она не отстанет от человека, который плюнул ей в лицо. По малости, но напако-стят. Так что в конторы эти лучше не соваться. Предпочтительнее другой вариант – обучение ювелирному делу. Человек, знающий камни и умеющий обрабатывать их, никогда не пропадет, а щель в эту нору будет найдена.

Михаила Ивановича вытурили с работы, подведя под сокращение штатов, но говорить о нем дяде Паше нельзя, партийцев тот презирал, считал галерниками на римской триере.

Когда появится щель в уютную нору, не знал сам дядя Паша. Во что бы то ни стало дожить до 25 июня, пойти в отпуск, затем уволиться по собственному желанию – на это уходи-

ли иссякающие силы, а уже сочинился подписанный задним числом приказ, объявлявший Родичева А.П. ответственным за спирт, теперь на Алешу могут показывать: это он все получал и все пропивал. Приказ не вывешивали, его держали как камень за пазухой.

В курилке самого грязного цеха обосновались те, кого приговорили к отбыванию срока – исправительным работам в местах, указанных милицией: мясники, попавшиеся на недорубе или перерубе, обсчитавшиеся бухгалтера, проститутки, скромно обвиненные в антиобщественном поведении, юристы, погоревшие на взятках, пойманные на обмане продавщицы... Здесь к Алеше привыкли, при нем бывшие юристы и высказали мысль: на любом заводе, в каждой организации есть и будут соперники, две банды стяжателей, противостояние которых поддерживает нормальный ритм производства, и обе банды выметают за проходную тех, кто не примкнул к ним, имея на то возможность. В лучшем случае, подумал Алеша, его попросят уволиться через две недели, в худшем – выгонят через месяц, что одинаково по последствиям. Услышал он в курилке и нечто, его взволновавшее. У многих в цехе кончались сроки, мясники и продавщицы вчистую увольнялись на следующей неделе, возвращались к разделке туш, к обмерам и обвесам, оголяя в цехе участки. Один из них уже испытывал острую нужду в ночном рабочем, требовался человек присматривать за смесителями, в которых с десяти вечера до семи утра уплотнялись и пере-

мешивались химикаты. А такого человека не было, да и никто не хотел сидеть ночами в пыльном грохочущем цехе, откуда вентиляция не успевала вытягивать ядовитую пыль и микрочастицы красителей.

Надо было решаться. И Алеша решился. Расчет был на кадровика, а тот не мог не быть жуликом, потому что ежедневно и ежечасно обманывал от имени государства. Все кадровики казались Алеше на одно лицо, все были хамами, находящими усладу в помыкании теми, кто умел полезно думать или что-то искусно делать, потому что сами только и могли, что писать приказы. Этот, уже ему известный, с тупостью буйвола раздумывал долгую минуту, пока не сообразил, что ему повезло. Ночного рабочего действительно не было, и никого нельзя было заставить, на заводе все решалось добровольным соглашением сторон, потому что рабочие не получали и половины того, что обязана была давать им администрация; Алеша помнил месяц, когда электрики остались без изоляционной ленты. И согласие было получено, толстые пальцы кадровика уже начали развязывать тесемочки папки, когда вдруг появилось неожиданное препятствие: комиссия. На завод едет комиссия из райкома, она, изучая донос, может среди прочего задаться вопросом: а какие, собственно, грехи у заместителя начальника электроцеха, раз во искупление их он работает ныне не мастером, не бригадиром и не электромонтером? Закон разрешает понижать инженера до рабочего, но только на короткий, строго определенный срок,



причем пишется убедительный документ, приказ директора.

Тугодумное молчание кадровика, шелест резиновых лопастей вентилятора, треск пишущей машинки за стеной, шорохи подошв о линолеум коридора, лепет радио над ухом... В пространстве этих звуков и был озарен Алеша невероятной мыслью, прозрением, и этот миг прорыва в неизведанное запомнился ему надолго, навсегда, минута эта была пронизана утренним солнцем и зарей новой жизни.

Да не инженер он вовсе! Не инженер! И нигде не учился! Кроме как в средней школе! И никакого диплома у него нет! И сейчас (это он втолковывал потрясенному кадровику) будет написано заявление, он с сегодняшнего утра увольняется с завода, а завтра – принимается на него же рабочим цеха № 6, в листке по учету кадров появится запись: образование – среднее. А чтоб никаких подозрений не возникало, трудовая книжка его потеряется. С инженером Родичевым покончено, на завод принят рабочий Родичев, на него и заведена новая трудовая. Полный порядок!

К пяти часам вечера все бумаги были оформлены, получена и денежная компенсация за неиспользованный отпуск, ликующий Алеша выскочил на улицу. Наконец-то не увидит он ни одной руководящей морды, его единственный начальник – сменный мастер, который перед уходом домой, где-то около одиннадцати вечера, скажет ему, что в какую мешалку загружено и сколько часов валы с лопастями должны перемешивать политую клеями, эмульсиями и красками смесь. И

платить будут в полтора раза больше! Да, грязь, шум, крысы с метровыми хвостами, особо вредные условия труда, но зато тринадцать часов, что до следующей смены, принадлежат ему, свободному человеку, выжившему, несмотря ни на что.

Нашлась работа и Михаилу Ивановичу, на Таганке, библиотекарем, райком партии решено было в известность не ставить. «Отныне вы беспартийный», – подал идею Алеша, но Михаил Иванович заартачился, закричал, брызгая слюной, что даже в мыслях не может представить себя вне партии. Кое-какие доводы признал разумными и не стал писать в анкете о заграникомандировках, научных работах и выборах должностях.

Как первоклашку в школу, снаряжал его Алеша для первого дня новой работы. Сводил в парикмахерскую, выгладил брюки и рубашку. Удаление из аппарата катастрофически сказалось на Михаиле Ивановиче. Он высох, постарел, проскочив стадию мелких морщин, и глубокие складки побуревшего загривка переползли на лицо, брови закустились. Сорокалетние мужики окликали его у магазина: «Эй, отец!»

Утром Алеша приехал к нему прямо с работы, еще раз осмотрел со всех сторон, дал на дорогу и обед два рубля, посулил четвертинку, если тот вернется домой трезвым и вовремя. Проводил до автобуса, прибрался в квартире, сварил добротные густые щи, накрутил котлеты, с радостью увидел, что сковорода и кастрюли уже обретают следы прошедшего времени. Поспал, вымыл пол на кухне. Сидел, курил, думал.

О Колкине, который через год будет уже в Москве. О женщинах цеха. О матери.

Время шло, седьмой час вечера, а Михаил Иванович не приезжал, хотя по телефону сообщил энергично и трезво: «Еду!» Еще час протянулся... Нет, не приехал. Алеша стал обходить узловые точки алкашей, заглядывал во дворы, прочесал кусты вдоль оврага, потолкался у магазинов, прошелся по парку.

Нашел он его в овраге, был он живым, лежал на боку, пытаясь подняться, заговорил со всхлипами, неразборчиво, слюна и кровь текли изо рта. И был трезв, что поразило Алешу, когда он принес его домой и положил на тахту, в глазах его застряла такая боль, что стало страшно. Алеша метнулся к телефону, но одумался, «скорую» не вызвал, сдернул с Михаила Ивановича ботинки, брюки, поднял рубашку и майку, но ни ссадин, ни кровоподтеков не увидел и лишь по розовым пятнам белых трусов понял, что не в драке и не по пьянке изметелили Михаила Ивановича, что избит он профессионально, что шмякавшие удары нанесены грамотными кулаками, через полотенце, в обман травматологов. Моча шла с кровью, но что с почками – не поймешь, как это было у отца, когда соседи подобрали его возле дома. Дыхание без хрипов, легкие, следовательно, не пострадали, давление (измеритель нашелся в аптечном ящичке) чуть выше нормального, появилась надежда, что разрыва на почках нет, всего лишь повреждение тканей. И когда через час давление не

упало, Алеша вздохнул облегченно: кажется, миновало. Он обложил поясницу льдом, а утром, примчавшись с работы, стал грелками рассасывать внутренние гематомы – помнил еще, как выхаживала отца знакомая врачиха. Выпытал самое важное: спеша домой, Михаил Иванович пошел не парком, а через овраг, тут-то и догнали его двое парней – кто такие, не знает.

Строя догадки, Алеша все чаще обращался к «царскому селу», подозревал бывшую супругу. «Из хорошей семьи», – обмолвился как-то Михаил Иванович, расспросы же показали: из чекистской семьи, где зло всегда найдет оправдание и понимание. Кончив десятилетку, будущая жена Михаила Ивановича не побежала в приемную комиссию института, а подала скромное прошение и устроилась уборщицей в доме на Старой площади, доверили ей сто сорок квадратных метров поначалу, а там и больше, и уже со справкой, где работала, пошла учиться. Хватку обнаружила немалую, и жизненный опыт подсказал ей, как с глаз долой убрать мужа, не оправдавшего доверия, благо в этом районе ей когда-то подчинялась милиция. И сынок Михаила Ивановича совсем озверел, угрожал по телефону: в институт-то он поступил, но попал в венгерскую группу, от которой и проку-то не было: ни Америка не маячила впереди, ни Европа, а всего – соцстраны.

О длинной руке «царского села» говорить не следовало, и Алеша повел осторожные речи о том, что надо бы переехать

в другой район, здесь Михаилу Ивановичу не место, здесь он уже засветился, вот-вот завалится на дом участковый и выпишет предупреждение, о работе на Таганке нечего теперь и думать – ни больничного листа нет, ни справки о бытовой травме, чистый прогул, пункт 4 статьи 33-й.

Переезжать Михаил Иванович не хотел: здесь хорошо, библиотека рядом, райком партии даст работу. О трех магазинах, куда наловчился проникать с черного хода, помалкивал.

Уговорил Михаила Ивановича сам министр внутренних дел с экрана телевизора: министр собственной персоной пожаловал на опорный пункт охраны общественного порядка, лично одобрил начинание – постановку на поголовный учет всех подозрительных лиц, прежде всего пьющих, из-за чего сама операция и получила название «Бахус». Крупным планом телевизор показывал схемы с обозначением комнат и квартир, пути транспортировки алкашей к местам сбора или сгона их, и министр пожелал успехов в разработке операции «Меркурий», нацеленной на отлов мелких спекулянтов. Газетам, экрану, радио Михаил Иванович доверял полностью, поэтому сдался, прикинул заодно, что загрести его могут безо всяких мифологий, без операции «Сократ».

Вывесили объявление, согласились на Свиблово, первый этаж, совмещенный санузел, вблизи ни магазина, ни даже палатки с хлебом, потому и не за свой счет переехали. Взбодренный четвертинкой, Михаил Иванович держался уверен-

но, в кабине грузового такси сидел, как в черной «Волге», но перед свибловской пятиэтажкой выскочил, растер колени и пошел, понунив голову, вслед за машиной, как за собственным гробом, понимал, что эта убогая квартирка – его последнее пристанище, отсюда, с первого этажа ветшавшего, да еще в Свиблове, дома, ему уже не выбраться. Зато Алеша был доволен. Сердечко у Михаила Ивановича пошаливало, ноги слабели, пить он не перестанет, и придет пора, когда ему выше первого этажа не подняться, и не всякий алкаш, подцепленный им у магазина, попрется в такую даль.

Почему-то думалось, что Михаилу Ивановичу будет здесь хорошо, и ожидания оправдались. В секторе учета сидел райкомовец, знавший Михаила Ивановича когда-то, чинить ему препятствий не стал, подсказка его помогла устроиться на фурнитурной фабрике, там Михаила Ивановича посадили на склад, где ничего никогда не хранилось. На всякий случай Алеша два дня провожал и встречал Михаила Ивановича, пока не убедился, что никакой опасности нет, народ в микрорайоне тихий. Правда, Михаил Иванович сам себе мог навредить громкими рассуждениями о таинстве аппарата.

Это были счастливейшие месяцы, никогда еще жизнь так не улыбалась, и счастье длилось полтора года.

Он обрел нору, о которой говорил дядя Паша. С наступлением ночи отмечался в проходной, переодевался, смотрел, что наваливают в мешалку грузчики. Дрожал бетонный пол цеха, когда от нажатия кнопок мешалки с подвыванием начинали растирать смеси. Равномерный и назойливый грохот заглушали ухающие удары прессов, но в одиннадцать вечера их останавливали, рабочие шли в раздевалки и душевые, сменный мастер отдавал Алеше карту режимов и оставлял ключи от комнаты на втором этаже. К полуночи никого в цехе уже не было. Алеша приладил к мешалкам простенькое устройство с сиреной, она и гудела, когда мешалка останавливалась, подзывала Алешу. Не было смысла звонить дежурному монтеру, тот никогда не приходил на вызов, и Алеша управлялся сам. До утра читал, слушал музыку из приемника. В проходной отдавал мастеру утренней смены ключи – и день, полный радостных забот, расстилался перед ним. Он полюбил свою полуторакомнатную квартиру, она стала верным убежищем, фортификационным сооружением, крепостью с запасами продовольствия. Куплено зимнее пальто, теплые ботинки, костюм, книжные полки, они пока еще пустые, но уже радуют глаз. В прихожей – вьетнамская ци-

новка, мечты простирались до паласа, кухонного гарнитура, стенки и цветного телевизора – и упирались в препятствие: деньги. Платили двести сорок в месяц, но как ни экономь, а в заначку больше ста тридцати не сунешь, переходить же на прежние тридцать копеек в день бессмысленно и глупо, ту голодовку можно рассматривать как эксперимент, и если организм, выдержав испытание, забыл о нем, то от автобусных страхов так и осталась привычка осматриваться и всюду определять опасных людей.

Летом подошла пора отпусков, никуда Алеша не поехал, достал семь ящиков кафельной плитки. С рекомендацией дяди Паши нанес визит ловкачу ювелиру. Срок обучения у него – три года, условия тяжкие: вкалывать бесплатно пару лет, мальчиком на побегушках. Алеша на нищенство соглашался, но уж очень неприятно суетился ювелир, сбывая клиентам персидский жемчуг, внезапно упавший в цене. Так и не договорились. Еще одно деловое предложение – артель, штамповавшая пуговицы, но над нею уже висела милиция.

Провал, даже полный провал, но Алеша не тужил. Завод стал норой, и в этой норе обитали женщины, доступные и необременительные.

Их было много, молодых и стареющих, красивых и дурнушек, холостых и замужних, с детьми и одиноких, судьба распорядилась так, что иного пути у них не было, на этот завод они попадали по приговору суда, как на «химию», в лимитной разнарядке, в погоне за тремя сотнями сдельщины, с



направлением все того же районного бюро. По восемь часов стояли они у литьевых машин, и десятки пар женских глаз ощупывали проходящих мимо мужчин, молодых и здоровых парней, и выбор всегда падал на того, кто мог лучше любого наладчика или электрика исправлять литьевую машину, от которой зависела выработка, зарплата. Глаза останавливали, глаза встречали понимание; женская рука стыдливо касалась ворота распахнутой спецовки, лицо молодилось легким румянцем; взгляд от машины, пекущей брак, устремлялся к потолку, намекая на чердак, на списанные телогрейки, кем-то когда-то разложенные там. Крутая лестница вела вверх, белющее лицо женщины светилось в полумраке, а потом свету прибавляла белизна того, что в цехе скрыто было одеждой, но именно для этого полумрака женщина еще внизу начинала красить губы и подводить глаза – загадочна все-таки женская натура!

Нельзя было путаться с кем попало, если хочешь выжить, но и устраняться от женщин еще опаснее, к тому же Алеша был инженером и литьевые машины знал превосходно, цеховые электрики сами ловили его в начале смены, чтоб узнать, в каком блоке что испортилось. Какая женщина позовет Алешу на чердак – это уже решали не электрики, не сам он, а машина, и такой оказалась «Куасси», купленная в ГДР. Детали, вылетающие из ее пресс-формы, к концу каждой недели становились ломкими и с заусенцами, валютой на немца завод не располагал, русская смекалка электриков не выруча-

ла. Одно время работала на «Куасси» Тоня. Муж ее не про-  
сыхал, за дочерью присматривала соседка. Уволилась Тоня –  
пришла Зина, одинокая вдова, копившая деньги на мебель,  
эта выколачивала из машины рекордное число деталей, до-  
рожила каждой минутой, даже там, на чердаке. Потом появи-  
лась выгнанная из университета Римма, презиравшая чер-  
дачную любовь, горячо любившая жениха, что вполне устра-  
ивало Алешу: ему надоело возиться с капризной «Куасси».  
Но на Римму орали мастера, требуя план, и однажды Римма  
пришла на смену наманикюренной и с новой прической. За-  
муж она вышла, на свадьбу пригласила Алешу, но тот отка-  
зался: неудобно все-таки. И вспоминал себя четырнадцати-  
летним, в год, когда соседями стали Седакины и дочь их по  
утрам влетала на кухню в незастегнутом халатике, бросала  
на огонь сковородку, успевая жарить, плескаться водой под  
краном и покрикивать на мешающего ей школьника, не ве-  
дая, что долетавшие до Алеши брызги – священная влага.  
С каким наслаждением трогал он кран, из которого вода ли-  
лась на ладошки студентки! Это, наверное, была любовь, та,  
что в кино и по телевизору, но никак не на чердаке.

Нина, Валентина, Дуся... Чердак давал право каждой из  
них звонить по городскому телефону из комнаты Алеши,  
и как-то с Дусей пришла ее совсем молоденькая подружка,  
редкозубая и плаксивая Галя; та, хлюпая и сморкаясь, на-  
ставляла своего парня, знакомого с детства, на путь истин-  
ный: «Гена, Геничка, будь человеком...» Призывала его бе-

речь мамашу, бросить старое, взяться за ум. Дуся, слушая эти причитания, кривила тонкие губы, презрительно обзывала Галю дурой и просвещала: с кем путаешься, ты ж для него тряпка половая, он через тебя краденое сбывал, потому и любовь затеял...

Настал вечер, когда Алеша понял: Геничка – это Геннадий Колкин, это его умоляла бывшая продавщица Галя начать чистую, праведную жизнь, забыть о старых друзьях, помнить о больной матери.

Он не удивился. Он верил, что пути его и Колкина пересекутся, и не зря Колкин вышел на свободу раньше срока, хотя, по справедливости, сидеть бы ему еще пяток лет. Сводя старые счеты, подруги, Дуся и Галя, говорили и о Колкине; они познакомились с ним за полгода до того, как Алеша впервые увидел его. Не прийти в универмаг, а там работали до завода подруги, он не мог, он сбывал наворованное и на эту роль годился, как никто другой: ловок с бабами, общителен без навязчивости. Комиссионки и скупки отпадали, слишком опасно. Колкин искал покупателей среди продавщиц, потому что был уверен: они тоже воруют, у них деньги, а Галя не выдаст. Эта убогая на личико девчушка (при улыбке обнажались десны, язык спотыкался на согласных) так и не знала толком, чем занимается ее Геничка, и уцелела она чудом: Колкин прятал у нее дома отрезы, но накануне ареста сплавил их подвернувшемуся спекулянту. (Судили подруг по другому делу, своей «химией» они покрывали

чужую растрату.) Злая и пылкая Дуся уверяла, что Геничка когда-нибудь продаст Галю – проиграет ее в карты, уступит другому или наведет на нее милицию.

Так и произошло: Галю взяла милиция, шкафчик ее перетрясли, но так и не нашли того, что ночью обнаружил в раздевалке Алеша: под газетой, застилавшей полочку шкафа, лежала фотография Колкина и Гали.

Он разрезал ее пополам, Галю сжег, Колкина показал дяде Паше. Два пальца зажали краешек фотографии, дядя Паша примерил Колкина к бытовым ситуациям текущего десятилетия. Уверенно произнес: «Ну, этот никогда не станет пить вторым...» И Алеша признал его правоту. Личности алкашей начинали проявляться уже у магазина, и не самый толковый брал на себя бремя лидерства. Бывали случаи, когда к прилавку рвался тот, у кого не хватало двадцати-тридцати копеек, он их и отработывал, продираясь к бутылке сквозь очередь. Самым ответственным был разлив, процесс деления поллитровки на три равные доли: в лидеры подчас рвались хитрецы, так умело разливавшие, что всегда проглатывали полторы дозы, и лишенцы могли сетовать на невезуху, на нестандартный стакан. Вариантов лидерства – тьма, социальные роли и маски менялись в разных комплектах пьющих, но вторыми почти обязательно пили малодушные люди, и уж Колкин никогда не был таким.

Обидно было узнавать другого Колкина, он вспоминался работягой на выездной сессии суда, и представлялось: полу-

чит свободу безвинный – станет мстить за несправедливость, а когда по телевизору одобрялась операция «Бахус», Алеша сожалеюще подумал, что уж на Колкина милиция заготовит сети покрепче.

Ударили январские морозы, Алеша поехал к Михаилу Ивановичу утеплять квартиру. Своими ключами открыл дверь, принялся: не дом, а пивная, заплеванная и загаженная, пол исшаркан. И, чего не наблюдалось ранее, на кухне готовая к сдаче посуда, «хрусталь». Михаил Иванович лежал под пледом. Щеки ввалились, нос заострился, небритый, кислотабачной вонью несло от него – да такого милиция прихватит еще на подходе к магазину. Но трезвый. Два стула на середине комнаты, один против другого. Всю ночь, без сомнения, Михаил Иванович разыгрывал сцены в театре одного актера, отшлифовывал реплики, как тот абзац, который без помарок вошел в отчетный доклад генсека. Что здесь трагедия и что комедия – уже не разберешь.

Смотря в потолок, Михаил Иванович сказал с легким присвистом (у него выпал зуб):

– Я наконец-то разгадал смысл всего происходящего... со мной, с тобой, Алеша, со всеми нами...

– Слушаю, – ответил Алеша.

– Разгадал, – повторил Михаил Иванович, продолжая смотреть вверх. – Раньше думал – случайность, слепая судьба, падает же с крыши кирпич на голову Петрова или Иванова, с кирпича этого и начинают обычно опровергать де-

терминизм. Но вот час назад увидел по телевизору видовой фильм про Африку – завтра утром будут повторять, – львиную стаю засняли, называется она прайдом, там своя иерархия, но не в этом главное – в том, как добывается пища. Обитает прайд в регионе по соседству с буйволами и антилопами. Раз в несколько дней прайд проводит, выражаясь по-военному, операции по захвату парнокопытных, полукопытном охватывая пасущееся стадо. Львы-загонщики преследуют буйволов во все убыстряющемся темпе, гонку эту выдерживают не все, от убегающего стада отделяется группа, в ней больные и слабые особи, их-то и отсекают львы, сидящие в засаде, и вот что интересно: в дальнейшем это стадо львы не трогают, они позволяют ему перейти на другое пастбище, где нет хищников, а сами ждут прихода очередной группы травоядных, и все повторяется. Так поддерживается экосистема. Львам не выгодна гибель ядра, костяка стада, но и буйволы благодарны львам за селекцию. И овцы целы и волки сыты. А мы с тобой, Алеша, оказались слабыми, не успели убежать. Но зато теперь нас никто не тронет.

В холодильнике – пустота, морозильник оброс льдом. Алеша выключил его, обдал горячей водой. Сварил густые щи (мясо и капусту прихватил с собой), нажарил картошки, поднял Михаила Ивановича, проветрил квартиру, заклеил окна. Уехал на работу, а утром сел у телевизора, Михаилу Ивановичу он не поверил, тот робел, когда слушал официальные голоса или читал газеты. Звук Алеша выключил, как

делал это с того года, безработного и голодного, когда казалось, что шум в квартире выдаст его. И увидел на экране то, чего не заметил подслеповатый Михаил Иванович, оглушенный к тому же враньем из-за кадра.

Да, была гонка, стадо спасалось, но добычей львов стал не молодняк, на слабых ножках еле поспевавший за взрослыми особями, не хворающие буйволицы и не постаревшие буйволы, они-то как раз и спаслись, иначе и не могло быть – возрастная иерархия определяет поведение животных, мораль и право популяции. Но отбраковка стада все-таки произошла, и львам была отдана крепкая и быстроногая буйволица. Ничуть не уставая и вовсе не паникуя, она мчалась где-то между авангардом стада и серединой его. И вдруг выскочнула из массы сородичей и как вкопанная остановилась – красивая, сильная, в расцвете лет особь! Она и была задрана львами после короткой и бурной схватки – нет, не акт самопожертвования, не героический поступок «сознательного» члена коллектива. Стадо вытолкнуло из себя буйволицу на закланье и растерзание, потому что давно заметило в ней неразвитость чувства стадности, она еще до погони отделилась от коллектива, не желая подчиняться вожаку. Инстинкт самосохранения подсказал стаду, кто враг всех буйволов, буйволиц и буйволят, и врага отдали львам, а уж с теми можно ужиться.

Над норой, ошеломленно подумал Алеша, нависла опасность, вновь маячит статья 33-я КЗоТа, ленивое и сытое

благополучие притупило чувство самосохранения. Вспомнилось, что уже третью ночь химички из экспресс-лаборатории берут анализы смесей, и теперь ясно, зачем это делается. Много лет подряд ночные смены давали бракованную продукцию, из-за разных неполадок мешалки останавливались на час, на два, пока не приходил электрик и не запускал их вновь. Смеси затвердевали, и тогда ночные рабочие вбухивали в мешалки три-четыре ведра воды. Утром смеси вальцевались и увозились, под брак и была выстроена вся технологическая цепочка, но на Алешиных сменах мешалки крутились безостановочно, брак исчез. Для завода это гибельно, и Алешу выгонят. Начальство уже догадывается, кто «враг производства», поговаривают о том, чтоб перевести его в дневную смену, совсем недавно обвинили в воровстве, не всерьез, как бы шутя, мы, мол, сами знаем, что не ты уволок ящик туалетного мыла, но тем не менее... Бежать надо, увольняться, пока не поздно!

Он пересчитал деньги – мало! Несколько успокоили запасы продовольствия, банок двадцать тушенки будут отнюдь не лишними, но в уныние привели новости, услышанные от всезнающих работяг у дверей бюро по трудоустройству.

Плохо, совсем плохо! До Олимпиады еще далеко, а на всех заводах появились наркологи в милицейской форме, ширится соревнование, кто больше поставит работяг на учет или отправит их в лечебно-трудовые профилактории, куда раньше посылали только решением суда. Хватают всех под-



ряд, профилактории эти открыты на крупных заводах, везде нужна дармовая рабсила, основным поставщиком ее стал главный психиатр Москвы. Ужесточен паспортный режим, дважды побывал в вытрезвителе – жди повестку, суд без заседателей и три года высылки. Но самое страшное в том, что стоит на любой комиссии раскрыть рот, защищая себя, как тебе тут же пришивают диагноз нарколога: агрессивное поведение! Михаил Иванович, не исключено, может попасть к таким психиатрам. Из партии его все-таки выгнали «за неуплату членских взносов», зато ни на какой учет он нигде не поставлен, добрый человек написал ему в трудовой статью 31-ю, два с половиной месяца в запасе, за это время его можно спасти от бюро и нарколога. Им, правда, интересовалась какая-то инициативная группа из ЖЭКа (доложила соседка, принимавшая Алешу за сына Михаила Ивановича), но, кажется, это был всего лишь всплеск энтузиазма, местный опорный пункт операцию «Бахус» еще не разработал.

Нашелся (за приличные деньги) врач, обещавший в амбулаторных условиях, то есть почти на дому, излечить Михаила Ивановича от пагубной страсти. Тот обреченно вздохнул, узнав о враче, закрылся пледом, не желая слышать о себе дурного, самолюбие в нем таилось взрывчатое. Алеша отобрал у него все ключи, закрыл наглухо в квартире, чтоб не сбежал опохмеляться, но пришел через сутки – пьяноватенький Михаил Иванович смотрел на него грустно и нежно. Первый этаж все-таки, сиганул в магазин через окно.

– Я не буду лечиться, Алешенька... Я хочу пить, и я буду пить... Люди ведь живут надеждами, а их у меня нет, одна лишь осталась: выпью сегодня – выпью и завтра. Единственное наслаждение, последняя радость. Пища, женщины, книги, кино – ничто уже не интересно. Я разуверился. Я абсолютно убежден в неосуществимости всех идеалов. И самое страшное: я постиг ужас всех идеалов. В них можно только верить. Потеряешь веру – и конец жизни. Я перестал верить в торжество коммунизма – и все во мне разладилось, у меня и штаны спадают оттого, что не будет никогда ни свободы, ни равенства, ни братства. Тупик безысходный! И глоток водки для меня – заменитель всей жизни со всеми ее эмоциями. Я даже так скажу: жизнь – суррогат тех наслаждений, что дает алкоголь. Неспроста римляне называли алкоголь водою жизни...

И понес обычную алкогольную околесицу: фантомы, ноумены, критерии разума, а потом пустил слезу, оплакивая якобы голодающую дочурку.

– Да хватит вам! – прикрикнул на него Алеша. – Съезжу к ней на днях, накормлю, черт вас возьми...

Дверь открыла русоволосая девушка в тесном халатике (как тут не вспомнить студентку Седакину!), без удивления приняла букетик цветов, после чего призналась: да, Светлана Михайловна Румянцева – это она. А вы кто?

Предлог для визита выбран убедительный и верный. В ноябре, смело врал Алеша, познакомился он в доме отдыха

со Светой Румянцевой, она и дала свой адрес – дом, улица, квартира, все совпадает. Теперь-то он видит, что Света, да не та, Румянцева, но другая.

Эта Света в разговоре на кухне (только туда был допущен Алеша) терзалась догадками: кто же самозванничал в доме отдыха, кто выдавал себя за нее? Подруга, это уж точно, но кто? Вера? Надя? Тоня?.. Дважды открывалась и закрывалась дверь в комнату, на кухню заглядывала сестра, школьница, лет на восемь моложе. Еще две комнаты, в одной, сказала Света, безобидный пенсионер, жену недавно похоронил, в другой – старушенция с дочкой, девица та еще, брат ее сидит в тюрьме, и все выпущенные кореша брата заваливаются к сестре известно для чего, выставляя старушенцию, и нельзя ли узнать, почему один задерживается на десять минут, а другой торчит полчаса, а то и больше? А?.. («Нет, это ж Валька, вместе учились, шептунья такая... Родинка у нее, в душе как-то мыслишь, вот здесь примерно... Что? Ну, если вы с ней только в кино ходили, то что мне у тебя про родинку спрашивать! Лопух ты, больше никто! Валька, она ж такая: сразу в кусты надо тащить, другого отношения она не признает!») И вот еще что, тараторила Света, по жилищным законам получается: у них на троих 21,4 квадратных метра, а на улучшение ставят тех, у кого на душу меньше семи метров, и что делать, уж не заложить ли кирпичами стену, чтоб перемерили и нашли двадцать метров? («Ну, дура, как сразу не догадалась: Тамарка! Ну, сволочь, я ей покажу, как под

меня работать!») Мне замуж выходить нельзя, продолжала трещать Света, отсюда выпишешься – мамаша и сестренка отдельную квартиру век не получают. А ты холостой или женатый? Что я, дура, спрашиваю? А вообще та, домотдыховская Света, лучше меня или хуже? Нет, ты с ней не только в кино ходил! Ты сюда привалил, чтоб понятно что. Так учти: со мной это не пройдет. Но пасаран! («Ой, надо же... Светка Ширяева! Она! В одной компашке недавно познакомились, она сюда ко мне приезжала, я ей кордарон доставала!») А ноги у меня красивые, правда? 36-й размер, в «Детском мире» покупаю сапоги, дешевые, и никаких проблем, но учти: хоть я и с закидоном, но еще девушка и ни-че-го такого, усек?

Сама – крепенькая, легкая, ладненькая, завитушки тонких бровей придают глазам стремительность, взгляд острый и хитрый. В прошлом году окончила фармацевтическое училище, работает сейчас рецептором в аптеке на Ленинском проспекте, в две смены, сегодня была с утра.

А вот и мать пришла, и Алеша жадно глянул на ту, которая солнцем воссияла над аппаратными буднями женатого Михаила Ивановича, но не ослепила его, потому что Михаилу Ивановичу внушено было: расторжение брака сузит коммунистическую перспективу и удлинит сроки осуществления гуманнейших идеалов.

Глянул – и поразился тому, как красива дочь этой сухой, вежливой и быстро постаревшей женщины, едва дотащившей до дома сумку с провизией. «Вы не поужинаете с нами,

молодой человек?» Света вытолкала его на лестничную площадку.

– Здесь, как видишь, меня не полапаешь. Приходи в аптеку, там тоже не полапаешь. Но все равно приходи. Найдешь, если захочешь.

Михаилу Ивановичу он сказал:

– Она умная, чистая и очень скромная. Но так напугана этим миром, в такой растерянности, что прикидывается ехидной, злой и развратной... Да подберите сопли, сытая она и знать вас не желает...

Ночью с совком для пробы пришла в цех девица из экспресс-лаборатории, Алеша разговорил ее и понял: дни его сочтены.

Когда земля пригрелась солнышком и снег кое-где сошел, Алеша поехал к дяде Паше на его работу, о чем слезно просила Наталья. Что-то случилось с дядей Пашей, не бывал он у нее уже несколько недель. «Если помоложе нашел, так ты уговори вернуться. Я ведь его, увечного, люблю, ой как люблю!»

Окраина Перова, сюда приехал Алеша. Оставив позади почерневший за зиму стадиончик, собиравший летом пятьсот и больше болельщиков, он выбрал тропку посуше. Давно здесь не был, дорогу подзабыл, но путь указывали алкаши, прущие к поляне за ручьем. Весенняя половодица, висячий мостик почти касался грязно-желтой воды. Природа позаботилась об алкашах, овражком защитив пьющих. Ни один

милицейский автомобиль не мог подобраться, а скандалы и ссоры на поляне гасил дядя Паша.

Его Алеша нашел в кустах, дядя Паша сидел на вчетверо сложенной телогрейке, был в порыжевшем от дождя кительке, рядом – ведро с водой, в ведре – стаканы. Как раз подошла очередная троица, мужикам понравился высокий пенёк, достали бутылку, ищуще, растерянно огляделись – и тут дядя Паша, протерев стакан из ведра влагопоглощающей тряпицей, положил его в копеечный конверт без марки и с достоинством, не навязывая себя, приблизился к желающим распить. Протянул – и отошел в сторонку, чтоб своим присутствием не исказить ритуал, и на такое расстояние, что само собой напоминалось: стакан следует возвратить, присовокупив к нему посуду – бутылку. Подавал и принимал стакан правой, о двух пальцах, рукой, один взгляд на которую объяснял и облагораживал его должность при полянке, одновременно вызывая в памяти размеры пенсий инвалидам и воинам.

Вновь устроившись на телогрейке и опустив пустую бутылку в мешок, дядя Паша спросил о Наталье. Еще раз отошел, обеспечив женщину и двух мужчин, но задерживаться рядом с ними не стал, догадался, что эти надолго и стакан им понадобится. Обычно же он скромненько посиживал метрах в десяти от компаний, спиной к ним, улавливал разговоры, процеживая и сортируя услышанное, пользуясь еще и тем, что пьющие ненамеренно разговаривали громко.

Много чужих тайн перепало дяде Паше, он и жил ими, иначе не властвовал бы на поляне, не считался бы хозяином всей округи. Выполнял заодно и функции посредника. «Друг, извини, случайно долетело, тебе двести метров рубероида нужно... Могу сказать, где и у кого...» Бывало, его самого искали: «Дядя Паша, Володька Шерстяной придет, так передай – жду завтра на том же месте...» В человека при стакане определился он случайно. После корейской войны авиационное начальство не хотело признавать осколочное ранение руки за фронтовое увечье, райсобес тоже заартачился, так и остался дядя Паша ни с чем, без пенсии, обозлился на всех и стал получать удовлетворение от должности, которую уступил ему на время заболевший инвалид. Так и задержался он на этой ступеньке, опуститься ниже не мог, мешало самолюбие. Но и вверх не тянуло нисколько. Скрывал, конечно, от Натальи и ото всех род занятий, и только Алеша знал, на каком ракетном предприятии работает дядя Паша. Много лет назад загудел отец, когда еще был слесарем-сборщиком на заводе неподалеку, Алеша искал его везде и нашел здесь, гостящим у дяди Паши.

– Как у тебя дела?

– Плохо, – сказал Алеша. – Но я выстою. Я найду себе другую нору.

– Смотри. Главное – выбор оружия. Надо предугадать. Чтоб использовать то, чего ни у кого нет.

Было три часа дня, уже всю торговали винно-водоч-

ные отделы магазинов, поляна постепенно заполнялась. Подросла и помощь – однорукий мальчишка, которого дядя Паша называл подпаском. Этот успевал и бутылки подносить, и новости. «Вихрастый должок передал...» Дядя Паша протянул клешню, сдавил пальцами тугую пачку.

– Ночной хищник, – отозвался он о Колкине, сам поведя о нем речь.

У Колкина водятся деньги, сказал он Алеше. По местным масштабам – большие деньги. Откуда они – непонятно, однако их можно связать с двумя происшествиями, одно за другим в конце прошлого месяца. Кто-то ударом сзади оглушил в соседнем районе продавщицу магазина и забрал всю ее личную выручку, более двух тысяч рублей, как говорится, мелочь, но приятно. В милицию продавщица не заявляла, не хотелось ей объяснять, откуда деньги. Не пошла в милицию еще одна гражданка, всю ночь без сознания пролежавшая в парке, и что умыкнули у нее – тайна. Если сопоставить эти происшествия, то, пожалуй, только Колкин на такое способен. Теперь он работает один, с фабричной шайкой рассчитался, да так рассчитался, что нет уже шайки: кто в могиле, кто в больнице. Ну а людей с тугими кошельками Колкин всегда отыщет – компанейский парень!..

Долго рассказывал о Колкине дядя Паша. Речь его не текла плавно, а прерывалась раздумьями, и Алеша предположил, что у дяди Паши кое-какие неприятности, да и это нежелание ехать к Наталье... Спрашивать напрямую он не



стал, так уж сложились у них отношения: наружу карман никто, ни дядя Паша, ни Алеша, не выворачивал. Заговорил сам дядя Паша, и Алеша поразился накалу страсти в его голосе, да и то, что произошло, не могло оставить спокойным самого выдержанного человека.

Дядя Паша сцепился с милицией! В смертельной схватке! Оскорбленный и униженный ею, он поклялся довести борьбу до конца, до победы, потому что на его доброе и заслуженное имя милиция бросала гнусную тень. Суть же дела сводилась к тому, что новая генерация в органах уже не хотела или не могла довольствоваться поборами и взятками на вполне законной основе. Ей требовались ныне живые деньги, свежие, теплые и не зафиксированные в протоколах и прочих официальных документах. Хотя такие деньги она имела всегда, добывание их с каждым месяцем становилось занятием все более трудоемким, и милиция с недавних пор отважилась на операции с явным провокационным уклоном. Человек, находившийся на услужении милиции, объявлял себя у магазина «третьим», сам брал бутылку и вел компанию на поляну, когда она пустовала, или в лесок поблизости, но всякий раз к заранее обусловленному месту, к березе, на ветке которой висел стакан. И первым наливал себе. К моменту, когда бутылка во второй раз наклонялась к стакану, из-за кустов появлялись милиционеры в форме и составляли протокол, прежде всего конфискуя бутылку с двумя невыпитыми стаканами водки. Спектакль кончался тем, что вжимал-

ся и денежный штраф, если деньги находились у насмерть перепуганных граждан, причем штраф никак не оформлялся. За день милиция раз пять-шесть устраивала такие представления, и не местной она была, не районной, а приезжей, подмосковной, на нее ведь местной власти не пожалуешься! Корпоративный дух тем тверже, чем преступнее организация! Плохо, очень плохо, но беда еще и в том, что пошел гулять слух: дядя Паша, мол, примешан к этому злодейству. К нему теряется доверие, а без доверия трудиться здесь нельзя! Не исключено, что слух распустила сама милиция, местная, своя, чтоб повысит тариф на бытовые услуги, так сказать. Сейчас дядя Паша платит участковому четыреста рублей в месяц.

– Я буду бороться! Я никому не отдам свою нору! – И два пальца, большой и мизинец, сомкнулись на горле невидимого врага.

Все новые алкаши с разных сторон подходили к поляне, однорукий мальчишка носился между пнями, как официант в кафе от столика к столику. Дядя Паша повел Алешу в бараки за лесочком, в свою комнату, где переодевался после работы. Здесь царила истинно спартанская строгость: кровать с панцирной сеткой без матраца, офицерская шинель на ней, три томака военных мемуаров на голом столе, тумбочка с тарелками. В шкафу, правда, богатая одежда. И сумка, из которой дядя Паша вытащил коньяк, лимоны, шпроты, хлеб. Над ним нависла настоящая беда, иначе бы не стал он пить

на работе.

– Зачем тебе Колкин?

Нельзя было не отвечать ему. Друг семьи, товарищ отца, человек, которому Алеша обязан.

– Я ведь лгал вам, когда говорил, что жизнь у меня сложилась... Она изначально была плохой, и, боюсь, в скором времени мне туго придется. Надо сделать рывок и освободиться от общества и начальников.

– Так зачем же тебе все-таки Колкин?

– Для рывка. Если решусь, – ответил Алеша, уже зная, что не сам он будет решать.

В позапрошлую ночь взвыли сирены, остановились две мешалки, Алеша убеждал себя: ничего не исправляй, запиши в журнал о поломке двух смесителей, вызови электрика, пусть затвердеют смеси, пусть, именно это от него и требуется. Надсадно, над самым ухом ревели другие мешалки, чавкали, всхлипывали, и в слитном гуле улавливался провал, немота скорбно молчавших моторов. Терпели бедствие механизмы, зывали к помощи – и Алеша не мог изменить себе, помог мешалкам, они ожили, заработали.

– Об одном я прошу тебя, Алешенька: не надо крови. Она никогда не лилась в моей норе. Я не хочу поэтому бросать ее, скажи там что-нибудь Наталье...

Выгнали его во вторник 20 марта, статья 33-я, пункт 3-й – завидное постоянство, подумал Алеша, все то же неисполнение обязанностей. И вроде бы по закону: акт об отсутствии на рабочем месте более двух часов, решение завкома, приказ директора. Но так обленилось начальство, что допустило грубейший промах: завком собрался за сутки до того, как Родичевым А.П. было совершено нарушение трудовой дисциплины. На глазах у кадровика Алеша сунул в карман копии документов, показав расхождение в датах. Договорились: в суд Алеша не подаст, но кадровик не оповестит милицию о кандидате на высылку. Ни злости у него не было к начальникам, ни гнева на себя. Всего лишь легкий страх и упование страхом, неизвестность манила. Обе трудовые книжки были изучены, вывод напрашивался: выше разнорабочего ему в этой жизни не подняться, и тем не менее он будет работать там, где ему понравится, и денег у него будет много. Ни в июле, когда кончится срок узаконенного безделья, ни позже или раньше в бюро трудоустройства он не придет. Жизнь в столице стала тревожной. К пивным подъезжали автобусы с милицией, хватали всех подряд, потом отпускали, переписав адреса. Еще не наступила пора массовых десантов на овощные базы, а уже известно: контроль усилен, расчет не в конце каждого рабочего дня, а раз в неделю, причем

смотрят на прописку и шмонают в проходной. Совсем увял частный наем, директора совхозов не подъезжали к бюро с заманчивыми посулами.

Алеша надеялся на счастливый случай, и тот его не миновал.

Однажды на старом «москвиче» подкатил к бюро высокий седой мужчина, прошелся по рядам безработных, заглядывая в их трудовые книжки, не оставил вниманием своим и Алешу, сидевшего в сторонке. Удовлетворенно кивнул, прочитав куцые записи и не обнаружив никакого интереса к той полосе жизни Алешы, которая была до этих записей. Сказал, что именно такой ему и нужен. «У тебя ведь в запасе три месяца...» Повел его к «москвичу», пригласил в кафе, напоил и накормил. «Меня зовут так: Самуил Абрамович, я директор продовольственного магазина». Выложил деловое и несколько необычное предложение. Ему нужен грузчик, до 1 августа, работать придется под чужой фамилией, трудовая книжка на эту фамилию и будет лежать в отделе кадров торгова. Дело в том, что обладатель этой фамилии – интеллигентный юноша из очень уважаемой семьи, юноше требуется трудовой стаж для поступления в институт, а семья, к сожалению, не привила ему любви к труду, институты же сейчас отдают предпочтение воинам и работягам. Можно, конечно, оформить юношу грузчиком и не видеть его на работе, все можно. Однако надо блюсти закон. В июле юноша сдаст экзамены в институт и заберет трудовую книжку. Что касает-

ся Алеши, то он, Самуил Абрамович, дает честное слово и от своего имени, и от имени благодарных родителей юноши: еще до 1 августа Алеша будет зачислен на очень хорошую работу с очень хорошими деньгами. Если, конечно, не захочет остаться в продмаге.

– Тебе не придется идти на этот невольничий рынок, – сказал Самуил Абрамович и потыкал вилкой в сторону бюро. Добрые глаза его с сочувствием смотрели на Алешу.

– Согласен, – кивнул Алеша и уточнил: – С понедельника. Он искал Михаила Ивановича, сгинувшего, пропавшего, пропившего все ценное, что взял, покидая «царское село», книги даже загнал. Некоторую ясность внесла соседка: неделю назад какие-то очень приличные мужчины сажали приодетого и трезвого Михаила Ивановича в черную «Волгу», что сужало район поисков – милиция на черных «Волгах» не разъезжает. Нашелся Михаил Иванович в больнице на Каширке, его поместили в алкогольное отделение. Воскресным вечером Алеша помчался к нему, ожидал увидеть слезы и тихое бешенство человека, впервые заключенного в камеру, эти ведь палаты для алкашей мало чем отличались от тюрьмы. И был изумлен до подавленности – свеженький и бодренький Михаил Иванович заливался радостным смехом, будто его с почетом вернули в родной аппарат; наконец-то он очутился среди своих, здесь не надо было прятаться, скрывая порок, официально признанные алкаши составляли товарищество. Грубо оборвав неуместное веселье, Але-

ша строго спросил, как Михаил Иванович, свободный человек, попал в эту конуру с решетками. Оказалось – старые знакомые по «царскому селу», и Алеше это очень не понравилось. С другой стороны, пусть полежит, вылечить-то его не вылечат, но отдохнет, надо ему почистить рот и вставить зубы, протезиста в больнице нет, но за деньги все можно сделать. Михаил Иванович поддакивал, похохатывал и все более злил Алешу. Почти ежедневно он виделся со Светланой, и отец ее, о котором она мало что знала, становился лишним, ненужным, мешающим жить.

Магазин Самуила Абрамовича – в цокольном этаже, выше – универмаг, а над ним – жилой корпус многоквартирного дома, все подъезды выходили во двор. Машины с продуктами задом подбирались к транспортеру, на ленту его ставились мешки. Мясные туши летели по скользкому жестяному желобу, их цепляли крючьями и волокли к холодильной камере. Ящики со всем прочим разгружались легко и быстро, четыре лифта соединяли отделы продмага с низами его. Тренькал звонок, доносился голос продавщицы: «Три ящика с консервами – давай быстреей!» Ящики в лифт, туда же накладную на них. Нажимали кнопку, в торговом зале с лязгом открывались дверцы. В обед со всех собирали по двадцать копеек, из обрезков мяса уборщица варила и жарила вкусную еду, в ресторане она стоила бы пять рублей. На десерт активировали якобы разбитую банку с персиками. Тем же способом добывалась водка. Было дружно, продавщицы смея-

лись до упаду за общим обеденным столом. Самуил Абрамович грустно посматривал на свою рать. «Мальчики вы мои, девочки...» — вздыхал он. К закрытию магазина продавщицы, все молоденькие, в одинаковых светло-голубых беретках, становились крикливыми, злыми, какая-нибудь да напивалась под возмущенные крики покупателей. Самуил Абрамович производил короткое дознание: «Ах, Маня, Маня, народ же все видит, и бог тоже...» Не наказывал, ограничивался внушением. «Дети, несчастные дети...» — жалеюще говорил он Алеше, которого выделял, которого ценил за честность и трезвость. У завмага побаливали ноги, нетвердой походкой передвигался он вдоль мешков и ящиков, считал и записывал, часто хватался за сердце, но слух, зрение и прочие чувства сохранил в неизрасходованности. Когда потерявшая стыд продавщица пронеслась как-то мимо в одной комбинашке, он признался: «Грехов за мной, Алексей, уйма, и такими юными тоже пользуюсь, но скажу тебе — они, эти нынешние, в восемнадцать лет уже старухи...»

Работал Алеша через день, с открытия до закрытия. После пяти вечера — никакой выгрузки, сиди и жди, когда мягко опустится кабина лифта с тарой и продавщица попросит ящик водки или рыбных консервов. Однажды лифт не пошел вверх, потому что не замкнулся дверной контакт. Алеша сам бы мог починить, но остерегся: грузчик не обязан разбираться в электричестве! Пришел электрик, один на оба магазина. Однажды все лифты вообще остановились, и опять



в магазинные низы спустился электрик, выругался, пообещал кому-то набить морду, поднатужился и надавил на рукоятку рубильника – лифты заработали. Когда он ушел, Алеша открыл сборку и внимательно рассмотрел все соединения в ней. Заводской брак: рубильник был неправильно собран, при включении правый крайний нож чуть-чуть не доходил до губок, а без одной фазы моторы не включались, лифты не работали, транспортеры тоже.

Через день работал – и почти ежедневно встречался со Светланой. Он уже много знал о ней. О Михаиле Ивановиче мать не сказала ей правды. Обещал жениться, но погиб – такая версия была втемяшена в детскую головку. Года три или четыре жил с ними муж матери, но так и не осмелился стать главою семьи, ушел незаметно, алименты единоутробной сестре Светланы платил исправно, что, наверное, большого труда не представляло: 28 рублей в месяц – не деньги. Мать получала 134 с копейками, сама же Света – чуть больше сотни. Есть возможность переехать в кооперативный дом, да где ж у них 4200 рублей на двухкомнатную квартиру, где?

О себе он не говорил, не рассказывал, и она его ни о чем не спрашивала и ничего, кроме имени, о нем не знала. И что он мог сказать? Что ему тоже нужны деньги? И не 4200, а в пятнадцать, в двадцать раз больше?

Когда в разговорах денежная тема иссякала, на смену ей приходило обыкновеннейшее девичье вранье и обижавшее

Алешу откровение о ненавистном грузе девственности, из-за которой нельзя себе ничего позволить, даже нацеловаться с кем-либо всласть. Такого не говорят тому, кому разрешено будет пойти дальше поцелуев.

По утрам он представлял себе, глянув на часы, что делает сейчас Светлана. Ванны в квартире нет, умывается, как Седакина, под краном на кухне, обнажившись до пояса, но в бюстгальтере. Бежит, перепрыгивая через лужи, к автобусной остановке (вчера шел сильный дождь). Сидит уже на вращающемся стульчике перед вырезом в стекле, куда суют ей рецепты.

И настал день, когда он признался себе: да, он хочет видеть эту девушку сегодня, завтра, ежедневно, каждый час.

Растерянный и оглушенный (в ушах звенело), прикинул все возможные исходы, но на ум пришло только умиленное до тошноты видение: загс, Михаил Иванович, чуть пьяненький и при галстучке, Света, плачущая от радости, что обрела наконец отца, и сам он, грузчик продмага № 8.

А дальше? На что жить и где жить? Где – у него, понятно. Можно съехаться и с Михаилом Ивановичем. А на что жить?

Вечером они целовались на парковой скамейке, и по тому, как внезапно ослабло ее тело, а губы и руки напряглись, Алеша понял, что теперь она все может ему позволить и себе тоже разрешить. И она поняла, подалась вперед, сильно натянув юбку, и гадливо, ненавидя себя, сказала:

– Вот ведь как... Случись это дома, попросила б закрыть

дверь на ключ... Как все просто...

– Я уеду скоро с геологами на заработки, деньги привезу в сентябре. Подождешь меня?

Впервые она испытала этот кошмар безволия, превращения себя в чужого человека, угадавшего в ней что-то из того, что она всегда скрывала. Помотала головой, приходя в себя, прибегла к старому приему, сказала гадость:

– Подожду, если вытерплю... Дай руку, помоги встать, вся мокрая... Когда уезжаешь-то?

– Через неделю, не позже, – сказал Алеша, ожидавший от дяди Паши важного сообщения.

Так и не получив его, он позвонил Наталье, и та заговорила непонятно, дико:

– Какой Алеша?... Да вы ошиблись! Нет здесь никакого Павла Яковлевича!.. Не помню... Алеша? Не слышала о таком!

На поляне он узнал: пролилась-таки кровь на ней, дядя Паша убит десять дней назад, труп найден под кустами, кто убил – неизвестно, милиция поспрашивала и слиняла. Похоронили его пышно, на Митинском, была вся поляна, родственников никого, да их у него и не было.

Рассказал это Алеше однорукий мальчишка-инвалид.

– Я теперь хилею здесь за главного, – потупился он. – Не успеваю, помощь нужна. Пойдешь ко мне?

– Подумаю, – проговорил Алеша. – Он ничего не передавал?

– Тебе – да. Такой вздрюченный был, что боялся с поляны уходить, боялся кого-то, тебя ждал.

– Что передал-то?

– Слово в слово: «Кому надо – сказано».

Самуил Абрамович уходил из магазина после того, как деньги из касс были пересчитаны, оставляя кабинет Алеше, дежурному грузчику. Здесь телефоны, сюда могут звонить из райторга, отсюда слышны звонки лифтов и крики нетерпеливых продавщиц. После семи вечера наступала блаженная тишина. Шелестел компрессор холодильных камер, тихо гудел торговый зал.

В этом кабинете на исходе рабочего дня где-то в конце июня Алешу пронзило вдруг чувство полного, абсолютного одиночества, и он заплакал впервые за много лет – с похорон матери. Его трясло от слез, от подавляемых рыданий, и чем дольше он плакал, тем легче становилось ему. В слезах оглядывался он на прожитые годы и, когда слезы иссякли, бесповоротно решил стать другим, чтобы сделать себе другую жизнь, в ближайшие месяцы, до сентября, потому что он обещал Светлане деньги и счастье.

В этот вечер, радостно наплакавшись, желая добра себе и всем, Алеша со стаканом воды забрался на стул, чтобы полить цветы на высоком подоконнике и хорошенько рассмотреть подъехавшую к подъезду инкассаторскую «Волгу». Из нее вышел человек, что-то держа под мышкой. Не спешил, но и не медлил: обычные движения служащего, выполнявшие-

го рутинные обязанности, знакомые ему не один год. Четырнадцать ступенек подъезда он знал подошвами, на ощупь. Человек потянул на себя дверь и скрылся в подъезде. В машине оставались двое: шофер и еще один служащий.

Цветы давно политы. Алеша – со стула – продолжал смотреть, изучать и размышлять.

Продмаг когда-то был отделом универмага, потом Самуил Абрамович стал полноправным хозяином, но продовольственная бухгалтерия не пожелала переезжать в полутемные помещения, где предположительно водились крысы, и работала на прежнем месте, в универмаге; инкассатор, конечно, забирал выручку обоих магазинов, учитывая то, что универмаг закрывался в девять вечера, а продовольственный часом раньше, сейчас же – десять минут восьмого. Примерно в это же время инкассаторская «Волга» приезжала вчера, позавчера, днями раньше, хотя, бывало, подкатывала и после восьми вечера, раздражая бухгалтерию. Не более тринадцати минут длился процесс приема денег, о завершении его давался какой-то сигнал, видимый только шоферу, «Волга» разворачивалась, подавалась назад и замирала у подъезда, дверца ее приоткрывалась. С двумя брезентовыми мешочками в виде сумок появлялся инкассатор, нырял в машину, дверца захлопывалась, «Волга» отъезжала, увозя двести с чем-то тысяч, подсчитал Алеша, от универмага и треть этой суммы, в другом мешочке, продмаговском, итого – почти триста тысяч. За тринадцать минут такие деньги не пересчитаешь, инкас-

сатор получал уже запломбированные мешочки, привозя с собой пустые, на завтра.

Более всего Алешу интересовал поднимавшийся в бухгалтерию инкассатор, небольшого росточка мужчина лет пятидесяти. Что-то ненормальное было в его дергающейся походке, в косящем взгляде припухших глаз; детского размера ручонки судорожно обхватывали и прижимали к животику обе сумки. Поначалу Алеша принял его за человека, в детстве перенесшего полиомиелит, но потом, втайне подсоединившись к бухгалтерским телефонам, прослушивая разговоры, понял: алкоголик! Обыкновеннейший алкоголик, скрывающий болезнь, вынужденный взамен водки на опохмелку глотать пригоршнями «калики», таблетки, вероятнее всего – снотворные. Водочный дух разоблачит его мгновенно: инкассатор этот дважды попадался на запахе в прошлом году, бухгалтеры его жалеют, мужичонка он безобидный, не вредный, во всяком случае, и если «Волга» иногда задерживается, то не по его вине, это старший инкассатор, тот, что остается в машине, сторожа сумки, полученные в других магазинах, требует опозданиями взятки – продамаговская бухгалтерша, восточная красавица с усиками, подбрасывала им вкусенькое, чтоб «Волга» приезжала раньше, универмаг тоже не скупился. Инструкция и здравый смысл запрещали держать в руках что-либо, кроме инкассаторской сумки, и магазинные подношения вручались не в бухгалтерии; милиционер, обязанный сопровождать инкассатора до маши-

ны, конфеты, колбасу и прочий дефицит выносил через другой выход, в торце здания, и отдавал поверх приспущенного стекла правой передней дверцы. Этот ставший ритуальным акт видеть Алеша не мог, но знал о нем; он присмотрелся и к милиционеру, милиционерше, вернее, дивчине из Белгородской области, лимитчице, удостоенной звездочки на погонах и московской прописки. Стремительно приобщаясь к столичной жизни, она сообразила, что милицейская форма ей не идет, а пистолет могут срезать в универмаговской толчее. Ходила в джинсовой юбке и кофточке без рукавов.

В проходной долго мусолили списки, Михаила Ивановича нашли в 12-м отделении: свидания раз в неделю, по воскресеньям, и только с ближайшими родственниками, для чего – паспорт.

Алеша прошел вдоль забора и через дыру пролез на территорию психиатрической больницы, куда увезли внезапно сошедшего с ума Михаила Ивановича. Что-то вроде военного городка раскинулось на пяти гектарах подмосковной земли: одноэтажные корпуса, много зелени, суший рай, аллеи посыпаны песочком. На скамейке у заборчика с ведрами у ног сидели алкаши, закатав рукава. Всем сделали укол, потом начали разносить водку. Процесс принятия ее сопровождался дуэтом врачей. Одна громко возглашала: «Водка – зло! Водка – зло!» Вторая звонко подлаивала: «Водка – зло, зло! Водка – зло, зло!» Кругом толпились любопытные, смеясь и подначивая. Многих алкашей уже мутило, но два тощих

мужичка не испытывали никаких тягот с животом, рыгать в ведро не желали и невозмутимо посматривали на страдающих соседей. Зоркие врачихи тут же увели в палату этих особо опасных больных, чтоб они не портили праздник медицинской мысли и не опровергали метод, тем еще подлый и глупый, что укорачивал жизнь, не отвращая людей от водки. Эту медицинскую процедуру алкаши называли так: рыгаловка.

Было половина двенадцатого, у кухни уже собрались пришедшие за обедом больные с бачками, с ведрами на тележках из отделений, что вдалеке. Почти все – вполне нормальные на вид люди. Тронутые болезнью узнавались легко, но как – определить невозможно. Громыхая ведрами, подошла миленькая и наискромнейшая девушка, длинные ресницы ее стыдливо упали, когда в мужском разговоре промелькнул мат, и радостно взметнулись кверху, как только к ней галантно обратился с вопросом чопорного вида старик: «Позвольте поинтересоваться, Аннушка, навел ли вас жених?» Энергично поводя плечами и бедрами, девушка описала свидание с мельчайшими подробностями, причмокивая и повизгивая, словами, от которых застыдились бы эротоманы. Подошедшая медсестра кулаком саданула девушку в бок, и та мгновенно превратилась в послушную школьницу. Никто не улыбнулся и не засмеялся. На всех бачках и ведрах красной краской было выведено: 7-е отделение, 16-е отделение и так далее, из 12-го никто пока не появлялся. Алеша терпели-



во ждал. Откуда-то из-за угла необъяснимо странной походкой вышел высокий лобастый парень, что-то держа у самого уха. Был он одет в синие больничные шаровары и курточку. Все заулыбались, увидев его, очень серьезного и полностью сосредоточенного на том, что слышалось ему из приемника, приложенного к уху. «Витюня! Командуй! Пора выдавать!» Витюня предостерегающе поднял палец, призывая к молчанию и продолжая вслушиваться в радиоголос. «В Бомбее восстали слоны!» – радостно оповестил он и вновь прильнул к эфиру, после чего грозно приказал: «Начинай!» Ставни раздаточного окна подались в стороны, черпак, вмещавший ведро, выплыл из глубин кухни, опорожнился в бачок, скрылся и вернулся, чтоб наполнить подставленный чан с ручками. Запах еды разнесся над больницей, игроки на волейбольной площадке побросали мячи и разбежались. «Компоту побольше!» – дал еще одну команду Витюня и пошел дальше, считая свою миссию выполненной. Он так энергично и суетливо двигал плечами и свободной рукой, что создавал иллюзию быстрого перемещения, на самом же деле удалялся от кухни с черепашьею медлительностью. Все с уважением наблюдали за ним, любясь торжественностью неспешной поступи. Нашлись и неверующие, кто-то с сомнением отнесся к восстанию слонов, на что получил – со смехом – возражение: «Не то еще услышишь, когда Витюня вставит батарейки!»

Бачковые 12-го отделения пришли с санитаром, что озна-

чало: режим там наистрожайший. Но санитар, к счастью, был молод и безотказно принял от Алеши подарок – бутылку коньяка, благожелательно выслушал его, затем, балуясь, оглушил медицинскими терминами: психозы и неврозы соседствовали с депрессивными состояниями и ступорами. Покрикивая на бачконосов, как на мулов, санитар показал Алеше, к какой двери отделения надо ему подойти. Через минуту он открыл эту дверь и провел его в огороженный участок двора, истоптанный тысячами ног. Еще одна дверь распахнулась, и во дворик впихнули упавшего человека. Это был Михаил Иванович. Алеша сначала не узнал его: уж очень пухлым казался тот, отъевшимся и опившимся. Михаил Иванович совсем облысел, зато чахлая борода задымилась кверху.

Припав к его груди, Михаил Иванович бурно расплакался: – Алешенька, один ты у меня остался, не знаю, когда увидимся еще...

Он всхлипывал, он дрожал, он стонал, но затем слова его стали короткими и злыми.

– Я здоров, – четко произнес Михаил Иванович. – Я абсолютно здоровый человек, верь мне, но отсюда мне уже не выбраться. Ты был прав, когда говорил мне о выживании. Я выжить не смог. А ты обязан выжить! И у меня к тебе последняя просьба – выживи! Выживи сам и помоги выжить Светочке! Дай ей маленькое счастье! Дай денег, если в них для нее счастье! Ты можешь найти их, можешь. Ты очень ум-

ный. Когда я решил помочь тебе, у меня ведь еще остались старые связи, я мог тогда узнавать о людях самое сокровенное, и то, что я узнал о тебе... Да, ты сможешь! Против тебя – власть. Но она порождение тупого и злобного мозга, она берет обманом и количеством, ее можно перехитрить. Отними у этой власти деньги! Они твои! Отними! Она грабила тебя тридцать лет, ты возьмешь то, что принадлежит тебе. И поделись со Светочкой. Я начал было оформлять завещание, но увидел, что нет у меня ничего, кроме японской кинокамеры. Возьми ее себе, ты знаешь, куда я ее спрятал. Знаешь? – Знаю, – сказал Алеша.

Кинокамеру Михаил Иванович пропил в загульном декабре, о чем сам рассказывал ему.

– И прибавь к ней мою жизнь. Распорядись моей смертью, скажи мне, когда умереть, приди и скажи. Будь безжалостным! Отними деньги! Грабь и убивай! Беспощадно! Ты ведь такой и есть – беспощадный, потому что ненавидишь алкоголиков! Значит, и людей не любишь. Но я тебя люблю. Только ты и есть у меня на белом свете.

Санитары приподняли и унесли впечатлительного Михаила Ивановича, обрекая Алешу на догадки о том, с чего это вдруг помешался аппаратчик.

Но еще одна преграда рухнула, и, расчищая путь к будущему, Алеша углубился в магазинные низы, подвалы и склады, с фонариком обшаривая их. Подобрал ключ к двери, которую начали было закладывать кирпичом, но так и не

заделали. Открыл и увидел кучки застывшего цемента, битый кирпич, ведра с каменно застывшей масляной краской – здесь, без сомнения, была бытовка строителей. Через два лаза пробрался он к еще одной двери, с нею Алеша провозил-ся два вечера, но открыл и уперся в металлическую решетку, которую, однако, можно было приподнять и отодвинуть. А за нею – поворот лестницы, приводящей на первый этаж трансгентства. Если выйти на улицу, то рядом посылочное отделение почты.

За полторы минуты, прикинул Алеша, можно преодолеть путь от кабинета Самуила Абрамовича до первого безлюдного этажа трансгентства.

Инкассаторы приезжали и уезжали, плюгавенький гражданин пропадал в подъезде и выплывал оттуда с четвертью миллиона, не подозревая, что по пятам за ним ходит Алеша, подыскивая Геннадия Колкину место в будущей операции, и поиски приводили в отчаяние; временами казалось, что задуманный трезвыми мозгами спектакль – те самые алкогольные химеры, что похмеляют пьяниц. Остававшийся в машине старший инкассатор окриком задерживал тех, кто внезапно появлялся у подъезда.

Но однажды под окнами бухгалтерии возник – стараниями рачительного Самуила Абрамовича – чем-то провинившийся грузчик. С этого вечера пустые коробки, ящики и пакеты не уносились на свалку и не поджигались там, отходы магазинного производства превращались грузчиками в

компактные тюки и переправлялись на склад – к полному удовлетворению пожарной инспекции. Грузчики взваливали ценное сырье на плечи и через бухгалтерию несли внутрь магазина, дребезжащий звонок звал Алешу к шахте подъемника, он выбрасывал оттуда уже связанный картон и относил в пустующий склад.

Алеша – думал.

Вновь помог ему случай. Окосевший грузчик упал с тюком на лестнице, уже в подъезде. Позвали на помощь Алешу. Он поднял бедолагу, поработал вместо него и столкнулся с инкассатором внутри подъезда.

Самуил Абрамович сдержал слово, дал адрес хорошей работы, и Алеша отправился в далекий путь, в Подольск, на окраине города нашел контору без вывески. Три бухгалтера крутили арифмометры, на неогороженном поле – принадлежащий конторе гусеничный трактор без кабины. Шустрый молодой человек, назвавшийся прорабом, тепло встретил Алешу, толково объяснил ему, что трактор надо собрать, но можно и не собирать, каждый день, разумеется, надо быть на рабочем месте, но, вообще говоря, можно и не быть; строго обязательны лишь подписи в денежной ведомости, два раза в месяц, 10-го и 25-го.

Судя по всему, решил Алеша, контора была прикрытием какого-то мощного, высокотехнологичного производства, для благополучной отчетности перед законом конторе требовалась уйма рабочих, абсолютно производству не нужных.

А тут и лошадь подошла к раскуроченному трактору, тронула копытом валявшуюся фару, тихо заржала. (Добрый Самуил Абрамович дал, соболезнуя, совет: «Ты там, за городом, погляди на лошадь, что пасется, присмотришься к ней и определи: как ей лучше – щипать травку или тащить на себе плуг?») Можно, конечно, устроиться в эту контору, соображал Алеша под довольное фыркание лошади. Устроиться – и уйти через два-три месяца, уволиться по 31-й, чтоб ею покрыть, этой верноподданной статьей, криминальную 33-ю, но это же не избавит его от бюро по трудоустройству, от невольничьего рынка, по выражению Самуила Абрамовича, – законодатель все предусмотрел: два увольнения в год – да ты же летун, гонишься за длинным рублем, милиция, сюда! Безвыходная ситуация, осложненная еще и тем, что небезгрешную контору когда-нибудь растрясет милиция и по трудовой книжке, по денежной ведомости выйдет на Родичева А.П. «Мне бы справку на совместительство...» Шустряк все понимал. «Сей момент!»

И копию с трудовой книжки тут же сварганили и вручили. Предложили и деньги. «Благодарю, в другой раз...» – отказался Алеша. Ни за авансом, ни за получкой он решил сюда не ездить, пусть шустряк награждает себя этими деньгами. Не зря юноша, тянувшийся к высшему образованию, трудовой стаж отрабатывал в другом месте. И Самуил Абрамович хорош. Как ни добр и великодушен, а вся выгода достается ему.

В пяти кварталах от дома Алеша обнаружил скромное учреждение с мудреным названием, показал кадровику справку и копию трудовой. Только таких, как Алеша, здесь и брали на работу; за семьдесят рублей в месяц никто трудиться не желал, сейчас, правда, лавочка на замке, геологи вернутся из экспедиций лишь в сентябре, тогда, сказал кадровик, и приходите, работа непыльная, через день, кое-какие поручения завхоза, метлой помахать, ящик с образцами породы переложить с одного стеллажа на другой.

— Значит, если я обращусь к вам числа двадцатого сентября...

— ...то будете приняты на работу немедленно.

Ему часто вспоминался видовой фильм, колыхание трав саванны, сожительство прайда со стадами буйволов и антилоп, бешеная погоня хищников за парнокопытными, мелькание лап и хвостов, растянутая по степи вереница животных, сужающиеся круги погони, нарастающий темп бега. Точно так же мелькали мысли, разрозненные, яркие, цветные. Кружилась голова, на висках вздувались вены, отчаянно колотилось сердце. Потом начинались мучительные боли в затылке.

От них спасала Светлана. Он кружил вокруг ее дома, видел ее издали, подкарауливал у метро, проходил, кося глазами, вдоль аптечных окон. Однажды она проплыла мимо скамейки, на которой он сидел, не заметила, к счастью, из-за близорукости.

Как-то ночью он встал, пробужденный криками матери,

плачем отца. Сон забылся, осталось ощущение потери, и Алеше стало жалко себя, Светлану. И Колкина было жалко, и людей в коммуналках, которые не смогут, как он, Алеша, вытащить себя из трясины.

«Пора», – сказал он тихо. Было уже 27 июля.

Как раз в этот день Самуил Абрамович сказал Алеше, что интеллигентный юноша поступил-таки в институт и работать под его фамилией нет уже больше нужды. «Коллизия исчерпана», – промолвил мудрый старик. Семья студента была по-своему благодарна Алеше, передав ему через завмага все те деньги, что получил за работу юноша, так ни разу и не показавшись в магазине. Продавщица Маня принесла Алеше бумажный пакет с фруктами.

С ними Алеша поехал в больницу. Какая-то беда стряслась там – еще издали определил он по суете в проходной, а когда пролез в дыру, никак не мог выпрямиться, встать, потому что над ним, над всеми корпусами и домиками больницы висел человеческий крик.

Человек кричал, протяжный стон издавался на таких низких нотах, что, казалось, звуки производит механическое устройство или электрическая сирена. И все же это был стон, звуковой образ безумного страдания, рев смертельно обиженного и поруганного человека. Люди – в белых халатах и синей байке, – задрав головы, смотрели куда-то вверх, как на необыкновенное небесное явление, и Алеша увидел черную человеческую фигуру под виляющей макушкой высокой ели.



Это был Витюня, тот лобастый парень, что держал радиоприемник на ухе, и кричал он потому, что у него украли этот приемник без батарей; он орал уже третий час в ужасе и недоумении, и вот-вот должна была приехать пожарная машина, чтоб снять его с ели. Об этом сказали Алеше больные, и тот закрыл глаза, долгую минуту стоял, не дыша и не двигаясь.

Михаилу Ивановичу свидания запретили, но его показали Алеше в зарешеченном окне, и то ли играли солнечные блики, то ли мелкаячеистая решетка так искажала, но лицо Михаила Ивановича было страшным, безумным, и лишь глаза, страдающие и умные, выдавали ясность рассудка. «До первого сентября!» – закричал Алеша, и Михаил Иванович, все поняв, молитвенно сложил руки, обязуясь быть живым весь август, но никак не позже.

В комиссионном Алеша купил кое-что из одежды, там же – часы и зажигалку японского производства. Закрыл газ и воду, выключил электричество, в спортивную сумку положил рубашки, трусы, майки, носки. На месяц расставался он с маленькой норой, переезжая в квартиру Михаила Ивановича и твердо зная, что вернется домой поздним вечером того дня, когда Геннадий Колкин преподнесет ему четверть миллиона.

«Кому надо – сказано», – из могилы, своей последней норы, передал дядя Паша, и это означало: кто-то из тех, кому Колкин доверял, предупредил его о телефонном звонке человека, которого зовут Михаилом Ивановичем и которому надо подчиниться, потому что за тем – власть и авторитет воровского закона.

Встреча произошла в назначенном Алешею кафе, и еще до телефонного разговора был выбран тон – и речи, и поведения: я – заместитель начальника электроцеха, ты – рядовой электромонтер. Не надо кривляться, и противно было Алеше играть не свою роль.

Он сидел, жевал, пил, ждал; болтавший с барменшей Колкин давно его увидел, но не спешил. Подошел наконец: «Простите, у вас не занято?..» В голосе приветливость человека, не отягощенного заботами о хлебе насущном, и если б Алеша не знал, кто сидит напротив, то так и не заметил бы запрытанной в зрачках мысли, хищной, свернувшейся для прыжка. Ни взглядом, ни словом не намекнул Колкин, что пришел сюда на встречу с кем-то. И Алеша ничем не дал понять соседу по столику, что это он звонил ему вчера.

Разговорились – о погоде, о «Спартаке», о предстоящей Олимпиаде... Шарящие глаза Колкина прочитали на зажигалке название фирмы, высмотрели часы «Сейко», оцени-

ли кожаный пиджачок Алеши (300–350 рэ). Поели и выпили. Расплатился Алеша, отклонив – жестом пренебрежения к пустякам – попытку Колкина вытащить бумажник. Повел его к скамейке метрах в тридцати от сберкассы.

– Сорок тысяч – вот что увозят отсюда инкассаторы. А это не деньги, Геннадий Антонович.

Впервые Колкин глянул на него – открыто, в упор.

– Что же тогда... деньги?

– Не меньше ста тысяч... И вы можете получить их, если примете мое предложение: взять вдвоем в одном месте четверть миллиона.

Какие-то странные, суетливые движения проделали ноги сидевшего рядом Колкина. Будто муравьи заползли ему под штанины или вдруг зачесались пятки. Ноги сложились в коленках, распрямились, сплелись и – наконец-то! – нормально вытянулись.

– Откуда вы узнали? Обо мне?

Теперь Алеша посмотрел на него – как на отлынивающего от работы монтера.

– На Петровке сказали... Не задавайте больше глупых вопросов. Пора становиться серьезным человеком, а такой человек начинается со ста тысяч... Прежде чем ответить отказом или согласием, вот о чем спросите у себя: можете ли вы запросто поднять ящик весом семьдесят килограммов и пронести его, держа над головой, метров пятьдесят? Так пронести, словно в ящике – полпуда всего?.. Потренируйтесь. Я

позвоню через неделю.

Он поднялся и ушел, оставив Колкина наедине с собою, с детством, с пьяными родителями, которых адвокатша назвала профессиональными алкоголиками. Мать его допивалась до того, что уносила из дому пальто и ботинки маленького Гены, а тот воровать стал с двенадцати лет. Умен, дерзок, начитан – как иначе выжить маленькому человечку во враждебной среде? Еще до суда и лагерей высчитал и понял: ишачь до пота, до мозолей, больших денег не заработаешь, а без них ты не волен распоряжаться своим временем и своей жизнью.

Алеша осторожно оглянулся. Колкин продолжал сидеть на скамейке и думать. Подтекал кран на кухне. Алеша сменил прокладку, хотел было заняться сливным бачком, уже поднял крышку, но передумал. Зачем? Ведь эта квартира – уже в прошлом. Не вернется сюда Михаил Иванович, и пусть вселенные жильцы сами сменяют сантехнику. Он же через две недели покинет Свиблово, оставив о себе робкие воспоминания соседки по этажу: «Да ходил тут к нему парень, сын вроде бы...» Милиция после смерти Михаила Ивановича пригласит ее, конечно, в квартиру напротив. «Из вещей ничего не пропало?» Горестный вздох: «Да кто знает-то?.. Какие вещи. Попивал сосед-то, у магазина что-то продавал...»

Сужалось жизненное пространство. Нет уже старого дома, после гибели дяди Паши незачем туда ходить. О НИИ он уже не вспоминает. Изредка чудится еще грохот мешалок, но

тут же вытесняется обыденными шумами, и завод забывается. Да теперь он, Алеша, до конца дней своих не свяжется с производством и его мародерствующими руководителями. Бюро по трудоустройству останется сном, который улетучивается с рассветом. И лишь продмаг Самуила Абрамовича навечно отштампуются в мозгах, потому что с него и начнется новая жизнь, та, где будет Светлана.

Согласие, разумеется, было получено. Геннадий Колкин нацелился на сто тысяч рублей.

– Буду откровенен, Геннадий Антонович, мне, как и вам, четверть миллиона нужны одному. Но я не в состоянии один взять эту сумму. А желательно бы.

Он подводил Колкина к идее: самому взять четверть миллиона! Одному! Без этого «Михаила Ивановича»! Внушал ему: человек – всегда одинок и должен рассчитывать только на себя. Да, семья, коллектив, общество дали ему речь, письмо, навыки поведения, приемы добывания пищи, но они же исказили человеческое естество, и всякий человек подсознательно ненавидит все коллективное; преступление против общества – всего лишь акт высвобождения от пут коллективизма...

Колкин слушал жадно, губкой впитывал новые знания, что временами пугало Алешу. Иногда комом, с перехватом дыхания, к горлу подступала ненависть к Колкину, и однажды Алеша не сдержался:

– Вот что, Колкин, не воображайте о себе чересчур мно-

го, вы всего-навсего мелкая сямка, желания ваши примитивны, как у хорька: баба да выпивка. Так зарубите на носу – вас Петровка загребет сразу, по запаху. Деньги – великий соблазн, вы перед деньгами не устоите. Едва в кармане зашуршат сторублевки, как вы тут же подцепите бабу посмазливее, потащите ее в ресторан, начнете швыряться купюрами, а милиции того и надо. В поле зрения следствия всегда те, у кого после ограбления резко меняется стиль жизни.

Суетливые дергания ногами, поразившие Алешу при первой встрече и уже разгаданные им. И жалкий, смиренный вопрос:

– Так что же делать, Михаил Иванович?

– Думать, Колкин. Заранее, заблаговременно менять образ жизни, чтоб не возникало никаких подозрений. То есть заранее познакомиться с женщиной, на которую будут обращены деньги, за неделю, за две до ограбления – подчеркиваю, д о – снять квартиру и ввести туда женщину...

– А ведь верно!.. – воскликнул Колкин; уж он-то мог в доказательство этой идеи привести массу примеров.

Алеша едва не попался, когда привел Колкина к аптеке. Так внезапно захотелось увидеть Светлану, что потерял контроль, ноги сами повели его на Ленинский проспект; он забыл о том, что рядом идет Колкин, он и не различал уже, где находится, просто шел да шел – и вдруг остолбенел: Света! В пяти метрах, за стеклом, в твердой белой накрахмаленной шапочке, скроенной под пилотку, усердно писавшая

что-то...

– Знакомая? – поинтересовался Колкин, и Алеша отпрянул от окна, оторвал ноги от асфальта.

– Да нет, впервые вижу...

Аптека осталась позади, но Колкин дважды оглядывался.

– Девочка типа «полный вперед», – пробормотал он в задумчивости.

– Не заметил... О деле думать надо, о деле. Обрати внимание: все аптекарши на экране – отрицательные персонажи, а сами аптеки – шпионские центры. Разлучница, развратница – обязательно из аптеки. Врач может быть в кино плохим, но рядом с плохим – честный эскулап. А у аптекарш одно ампула – быть сволочью. Не догадываетесь, к чему я клоню, Геннадий Антонович? У советского человека врожденная неприязнь к аптеке. Нужных ему лекарств там никогда нет, а кому хочется болеть?..

Интересным, очень интересным человеком был Геннадий Колкин! Выследил, естественно, Алешу и установил, где живет он, изучил все подходы к дому Михаила Ивановича. И на этом кончил проверку, не хотел обнаруживать себя. Старался быть скромным и послушным. А из него так и перла подлость, вооруженная всеми мужскими приемчиками, и взрослые школьницы с еще не притуплённым инстинктом самосохранения испуганно шарахались, если были не в стайке, от Колкина. Глазам своим он научился придавать выражение честности, глуповатости, преданности, мог «хилять» за

кого угодно, говорил бойко и ладно, и все же наблюдательный человек определил бы в нем, приглядевшись, недавнего заключенного – по походке. Два года на лесоповале, снег по пояс, руки заняты пилой или багром, тело подано вперед, ноги из снега приходилось вырывать с опорой на коленки – так и сохранилась эта динамика в вольной, нелагерной походке, а посучивание ногами, суетливое топтание на месте относились, догадался Алеша, к какому-то ритуалу, было обрядом воровского общежития, знаком своей подчиненности. Узкое пространство между нарами ограничивало жестикуляцию, тусклое освещение делало мимику невыразительной, но должен же «шестерка» показать «пахану» меру своего почтения! Колкин хотел выжить в лагере – он и выжил, научившись походке, изменив голос; от такой походки, видимо, и пошло выражение «на полусогнутых». Он и в Москве хотел выжить и признавал поэтому за Алешей права «пахана», способен был гадко, противно пресмыкаться перед ним и ненавидел его, пресмыкаясь; ненависть временами была такой острой и направленной, что Алеша ощущал ее кожей, затылком, но не пугался, потому что знал: Колкин пальцем его не тронет, пока не узнает, где деньги и как взять их. И, что было совсем странно, Алеша не чувствовал в нем врага, каким когда-то был для него контролер в автобусе. Иногда он жалел Геннадия Колкина, но уже не мог менять свои планы, а по ним выходило, что не видать тому и рубля; сумки с деньгами подержит в руках, и уплывут они



от него.

Две недели еще томил он Колкина и наконец привел его к универмагу. Уселись на скамейке метрах в ста от подъезда, ждали инкассаторскую «Волгу». Геннадий Колкин был чем-то напуган, нервно позевывал. И стал деловитым, увидев подъехавшую машину. Резко спросил, почему за деньгами пошел только один инкассатор. «Милый, да ты подумай, это у них пятая или шестая ездка, второй инкассатор сидит в машине на мешках, на миллионе, куда ж ему идти! Он не имеет права покидать «Волгу»!» У Колкина задергались ноги, он сплел их, застыл. Дышал тяжело. Когда инкассатор, уже с сумками, влез в машину, Алеша, отвечая на вопрошающий взор, презрительно сплюнул.

– Так и есть: без охраны, без милиции.

– А где ж она?

– За углом. У второго служебного выхода. Передаст инкассаторам кое-что из дефицита. Советская действительность. Специфика Страны Советов. Дурость российская. Посмотри теперь чуть правее. Видишь, парень в фирменной одежде универмага. За трояк или пятерку по вечерам после шести расколачивает пустые ящики и связывает разрезанный картон. Дощечки нужны для отправки на тарный завод, а картон – это маленький бизнес продавщиц, картон сдается в макулатуру, обменивается на книжные абонементы: Дюма, Конан Дойль и так далее. Раньше все это сжигали, дым стоял столбом. Теперь строжайше запрещено, столица прихора-

шивается перед Олимпиадой. Если пройдешь по универмагу, заметишь: в каждом отделе – крохотная подсобка, туда и поступает товар, там он сортируется, самое ценное идет под прилавок, это уже крупный бизнес продавщиц. А пустая картонная тара летит в окно, там ее и подбирает нанятый за тройак или пятерку. Здесь, – Алеша держал в руках сверток, – беретик и спецовка. Тридцать первого августа – пятница, да еще последний день месяца, наибольшая выручка обоих магазинов, около шести вечера переоденешься и станешь возле подъезда резать картон.

Колкин думал, рассматривая работягу, который разрезанную картонную тару укладывал в большой короб. Легко поднял его и понес на плече, потянул на себя дверь, вошел в подъезд.

– Точно так же и ты войдешь с пустой коробкой – пустой, заметь это, – продолжал Алеша. – Их много валяется, но для инкассатора надо подготовить достаточно вместительную, хотя сам инкассатор – мужичок хлипкий, недомежок, рост – сто пятьдесят пять, тайный алкоголик, по некоторым признакам, балуется кодеином, один слабый удар – и сожмется в коробке, потеряв сознание, он в ней уместится. Надо лишь правильно выбрать момент, коротышка этот сверху, из бухгалтерии, дает какой-то сигнал «Волге», знак того, что обе сумки у него, и машина начинает разворачиваться. Какой сигнал – я скажу позже, уточню.

Никогда еще и ни у кого не видел Алеша такой умной со-

средоточенности во взгляде. Колкин – весь внимание – смотрел на него неотрывно.

– Путь только один – наверх, в бухгалтерию, с инкассатором в коробке над головой. И ты не возбудишь ни малейшего подозрения, потому что руки твои подняты, а поднятые руки – это древнейший символ, признак того, что человек дурных намерений не имеет и не вооружен, сдача в плен – это прежде всего «руки вверх». И коробку понесешь легко, словно она пустая или с картоном. Следующее препятствие – милиционер – девка, лимитчица, она на своем посту, то есть у двери, ведущей в торговый зал универмага, ни своих, ни чужих она ни в зал, ни в бухгалтерию не пустит, но в двух метрах от нее лестница – туда, в продовольственный, в винный отдел, который закрывается в семь вечера, есть такое постановление Моссовета, ты открываешь дверцы малого грузового подъемника, он по габаритам рассчитан на коробку, кладешь туда ее, закрываешь, пальцем на кнопку – и четверть миллиона вместе с инкассатором опускаются вниз. Опустились – и ты отверткой отжимаешь дверной контакт, теперь цепь электротока прервана, никому уже коробку вверх не поднять. Обычно же этот нанятый за трояк работяга звонком предупреждает дежурного грузчика, тот выбрасывает коробку, закрывает дверцы, и подъемник вновь оказывается в винном отделе. И так далее. Обычно. Но не вечером тридцать первого августа и не в те минуты, когда ты внесешь в отдел ценный груз.

Нервная зевота напала на Колкина. Он так и не решил-

ся спросить: а где в этот момент будет его напарник? Уж не спрячется ли он внизу, у подъемника? Не схватит ли обе сумки и не даст деру?

– Не отвлекайся, Колкин... К дежурному грузчику тебе идти нельзя, обратный ход – через бухгалтерию, где тебя прихватят, но есть другой маршрут. Милиционерша покинула уже свой пост и понесла инкассаторам дань. Ты спокойно проходишь в торговый зал универмага. В пятнадцати шагах – грузовой лифт, точнее – платформа, на которую вкатывают тележки с ящиками, управление платформой наружное, там-то, у этого грузового лифта, я и нахожусь, ты же вместо тележки сам себя вкатываешь на платформу, я нажимаю кнопку, ты едешь вниз. Этот грузовой лифт – универмаговский, к продмагу никакого отношения не имеет, и подземный этаж, на уровне которого замер подъемник с инкассатором, лифт проскакивает, не останавливается, но уж настоящий электрик знает, как задержать лифт. Остальное – дело пятнадцати секунд. Хватаешь обе сумки, вскакиваешь на платформу, я поднимаю тебя, сумки швыряешь в непрозрачный полиэтиленовый пакет, сбрасываешь спецовку и берет, смешиваешься с толпой покупателей и размеренным шагом направляешься к автобусной остановке. Или к машине, я еще не решил, возможно, буду на «жигулях». Едем ко мне, считаем деньги, делим поровну и расходимся года на три. Глухая тишина. Меня как не было в Москве, так и не будет, квартира моя не подмочена, я снял ее на полтора месяца.

Колкин посучил ногами и решительно встал. Пошли в винный отдел, уже отделенный от покупателей решеткой, убедились: огрызком карандаша продавщица подбивает бабки, малюя цифры в тетрадке, дверцы подъемника раскрыты, сверху спустился алкаш в спецовке, неся короб, впихнул его в подъемник, тренькнул звонком, минуты через три-четыре звонок оповестил о том, что коробка выгружена, подъемник поднялся, дверцы распахнулись, работяга поплелся за очередной порцией картона.

– Опорный пункт милиции рядом с почтой, два наружных поста, само отделение милиции в трех кварталах – сразу сбегутся и съедутся, им, я подсчитал, надо три минуты, чтоб кольцом охватить весь предполагаемый район поиска. Но у тебя – две с половиной минуты... У нас, – поправился Алеша.

Два дня еще присматривались к порядкам в обоих магазинах, к инкассаторской «Волге». Установили: 31 августа – наивыгоднейший для них день, выручка перевалит за треть миллиона. Бухгалтерия же никакого сигнала «Волге» не подает. Экипаж машины так сработался, что интуитивно знал, на сколько минут ушел за деньгами этот низенький, пугающий шороха мужичок.

31 августа – на этот день назначили операцию. Сутками раньше встретятся в скверике у метро «Академическая».

И вдруг 29 августа Колкин пропал, на очередную встречу не явился. Продав его с полчаса, Алеша стал думать. Что-

то произошло, но что?

Начинало темнеть. Сидящий на скамейке у метро Алеша выгнул затекшую спину, поднялся, разгадав наконец уловку напарника!

Колкин нападет на инкассатора не 31-го, а сутками раньше, то есть завтра, но уж его-то, Алешу, он попытается убить сегодня, и хотя попытка входила в планы Алеши, ему стало зябко: сегодня – значит, в ближайшие часы. Вспомнилось, как вчера Колкин (на улице, кругом люди) рукою помял плечо Алеши, убеждаясь, что идущий рядом человек – еще живой, прощаясь навсегда. Простился – и Алеша стал для него мертвым, а с мертвыми не встречаются. Пожалуй, признал Алеша, взять деньги 30-го – и впрямь рациональнее, умнее. Колкин, как всякий производственник, преотлично знает, насколько суматошен последний день месяца, всегда штурмовой. Универмаг выбросит на продажу целый контейнер кофточек, рубашки и сапоги будут продаваться с лотков, наплыв денег приведет к тому, что инкассаторская машина добрую треть их заберет в середине дня.

В девять вечера Алеша поехал в Свиблово. Несостоявшейся встречей Колкин вытащил его из квартиры, и что сейчас в ней, кастет, бомба или нож – поди догадайся. Убивать на улице или в автобусе – слишком рискованно и негарантированно, и тем не менее Алеша держался в метро подальше от края платформы. В неживом ртутном свете фонарей он обогнул дом, подкрался к окну. Без единого шороха вполз в

квартиру. Прислушался. Никого – это ощущалось – не было. Луч фонарика подергался по стенам, уперся в дверь. Оставленная метка нарушена. Колкин все же побывал здесь, ему открыть любую дверь – плевое дело. Так что же оставил после себя Колкин?

Еще днем Алеша сдвинул занавески, чтобы квартира не просматривалась оттуда, снаружи. Стрельба исключена, слишком громко и ненадежно. Если мощная взрывчатка, то под какую приманку? Чего касается человек, когда он в полной безопасности? Какие движения производят его руки и ноги? Что вообще делает он?

Холодильник! Человек обязательно откроет его. Человеку нужна пища, уверенность в том, что пища есть!

Он присел перед холодильником, взглядом прощупал уплотнительную прокладку. Вслушался. Как раз сработало реле, мелкая дрожь металла передалась ногам. Шумы знакомые, внутри, кажется, ничего постороннего нет.

Телефон зазвонил – резко, грубо, упорно. «Да, слушаю...» – отчетливо произнес Алеша, и частые гудки рассыпались по квартире, снимая последние подозрения с холодильника. Звонил, конечно, Колкин. Затаился где-то рядом, по свету в окнах понял – в квартиру вошли. Теперь убедился: Алеша. Если б предназначил ему взрыв, звонить не стал бы.

Кастрюлька с супом и сковородка с котлетами. Все в порядке, и газом не пахнет.

Он сел, задумался. Представил себя впервые попавшим

сюда, встал, рассматривая каждую вещь на кухне, и когда глянул на чайник, то вспомнил о подарке, о коробочке липтоновского чая, Колкин задабривал его мелкими презентами под разными предлогами и два дня назад преподнес коробочку: «Знакомый один из Англии вернулся...» Кажется, речь еще была и о том, что сахар в незначительной дозе улучшает букет этого истинно английского напитка.

Сахарницы у Михаила Ивановича не водилось, вместо нее использовалась чашка с отбитой ручкой. Алеша вооружился старыми очками Михаила Ивановича, зачерпнул песок ложечкой и среди кристалликов сахара увидел какие-то остекленевшие комочки. Такие же обнаружили и в порах черного хлеба. И котлеты были посыпаны ими. Яд!

Когда вскипел чайник, он позвенел о стакан ложечкой и, пригнувшись, перебрался в комнату, оставив свет на кухне включенным. Лег на тахту не раздевшись. Он ждал телефонного звонка. Колкин должен проверить действие яда. Дом уже заснул. Единственное светлое окошко в нем – свидетельство внезапного недомогания хозяина, так и не нашедшего в себе сил протянуть руку к выключателю, так и не доползшего до кухни. И телефон уже не разбудит мертвого. Во втором часу ночи позвонил Колкин, и звонил он уже из дома, ему ведь нужен был сон, хотя бы короткий, впереди тяжелейший день и очень ответственное утро. Никто трубку не поднял, и Колкин заснул, поставив будильник на пять утра, так высчитал Алеша. Он лежал с открытыми глазами, не двигаясь.



Хотелось есть, но как раз такие желания он умел подавлять. Как и тягу ко сну. Смотрел в серый потолок и принуждал себя ни о чем не думать.

В шесть утра пробудился телефон, звонок был умоляющим и длинным. Десятиминутная пауза – и в дверь стали бить ногами. Алеша – в носках, на цыпочках – подкрался к ней, задержал дыхание. По двери колотили ногами. Разбуженная грохотом, на лестницу выглянула соседка, пригрозила милицией. Мальчишеский голос: «Да Юрка мне нужен, просили его к гаражу выйти!..» – «Нет здесь никакого Юрки!»

Все! Последняя проверка! И Алеша заснул. В полдень он побрился, на него в зеркале смотрел другой Алеша, чем-то похожий на Колкина. Вся еда полетела в унитаз, и сливной бачок не раз наполнялся водою. Свои вещи он уложил в сумку, рваную рубашку и старые газеты запихал в авоську. По всему, что могло сохранить отпечатки пальцев, прошлась тряпка. Ни холодильник, ни лампочку на кухне не выключил. Прощально постоял у двери.

Сумку он отвез в камеру хранения на вокзале. Пообедал и поужинал сразу. Разными автобусами добрался до универсама и в половине седьмого был на почте. Подошел к окну и увидел Колкина, окруженного наваленными у подъезда ящиками. Две девочки перекидывались мячом у самого подъезда. Чуть раньше обычного спустился к своей машине Самуил Абрамович, обладавший поразительным нюхом на грядущ-

щие происшествия. Однажды покинул магазин сразу после обеда – и как раз двумя часами позже в кровь подрались две продавщицы.

На почте никуда не спешащие люди получали заказные письма и бандероли, отправляли их, пенсионерам отсчитывали деньги, чуть дальше – телеграф и кабины междугородной телефонной связи. Алеша полистал какой-то каталог и по коридору прошел в посылочный отдел, занял очередь и купил ящик, самый большой. «Товарищи, нельзя ли потише?» – возмущалась приемщица, когда ящики заколачивали слишком громко, изо всей силы ударяя молотком по гвоздям. На локте Алеши висела авоська. Набрав горсть гвоздей, он вышел на улицу, рядом – дверь трансгентства. Нож, молоток, фонарик – все было с собой, в кармане. Постоял, осмотрелся. Как и следовало ожидать, на первом этаже трансгентства – ни души. Ящик спрятал под лестницей. Взлетел на второй этаж, где кассы, где окно. Всего два человека берут билеты, да и не могло их быть больше: конец последнего теплого месяца, конец рабочего дня. Все те же девочки продолжали играть в мяч, Колкина не видно, он заслонен козырьком другого подъезда. Нет, возник. Приучая к себе бухгалтерш, уже сделал не одну ходку наверх и сейчас возвращался. Инкассаторской машины не видать. «Вам куда, молодой человек?» – это уже Алеше, и кассирше был назван Калининград, поезд, идущий через Клайпеду, на 3 сентября. Получив билет, он отошел к окну, будто хотел потщатель-

нее рассмотреть желтый прямоугольник с номером поезда, датую, купейностью и местом. «Все правильно», – сказал громко и поспешил вниз, потому что у подъезда уже стояла служебная «Волга». Открыл дверь, ведущую в подземелья магазинов, держа под мышкой посылочный ящик. Сунул в него авоську. Разулся. Через заброшенную бытовку строителей углубился в магазинные недра. Вслушался в далекие шумы, в близкие грохоты и лязги. Крадучись, пошел вперед, остановился, когда услышал голос дежурного грузчика, усиленный шахтой подъемника: «Да нет больше соков, говорю тебе!...» Самый опасный участок позади. Грузчик ушел в кабинет Самуила Абрамовича. Все внимание теперь – на грузовой лифт универмага. Шахта его за стеной, но звук выдаст скольжение кабины. Пульс бился секундомером, отсчитывая время. Сегодня инкассатор будет спешить, потому что везде его задерживали, всюду старались освободиться от денег, хлынувших в конце месяца. Сидит сейчас, конечно, в кабинете главбуха, уже передал пустые сумки на завтра, теперь при нем, если этого не сделали раньше, деньгами набивают вчерашние... уже опечатали... А сейчас Колкин спокойно взваливает на плечо пустую коробку... идет в подъезд... Минута прошла, полторы... Ни выстрела, ни крика... («Молодец!») Свернутый калачиком инкассатор уже плывет в коробке над головой Колкина, над столами бухгалтерии, под сверлящим взором дурехи в чине младшего лейтенанта милиции... Раздался грохот железа – это захлопнулись дверцы

подъемника, что в винном отделе, потом еще удар железа – подъемник опустился на дно шахты, инкассатор – в нескольких шагах, и Алеша (руки в перчатках) бесшумно раздвинул дверцы, пальцы нащупали обе сумки, лежавшие на спине согнутого в три погибели человека. Маленькую, продмаговскую, Алеша оставил в коробке, а большую сунул под мышку и метнулся к силовой сборке. Колкин уже в торговом зале универмага, слышен лязг железа двери, опытному электрику замкнуть два конца пусковой кнопки – десять секунд, не больше, закоротку он смастерил... Замкнул, платформа грузового лифта пошла вниз – и Алеша чуть-чуть подал на себя рукоятку неверно смонтированного рубильника. Все! Грузовой лифт обесточен! Колкин застрял, ему уже не выбраться!

Обратный путь, через бытовку, занял минуту. Инкассаторская сумка легла в посылочный ящик и покрылась авоськой. Крышка с уже заполненным адресом прибита, Алеша сунул ноги в снятые полуботинки, отодвинул решетку, закрыл дверь, поставил решетку на прежнее место. Выскользнул из трансгентства. Очередь уже продвинулась, до весов – два человека... один. Милицейская машина под окном. Посылка легла на весы, норма – восемь килограммов, ящик потянул на сто граммов больше, но приемщица сочла это нарушение приемлемым, потому что спешила: к транспортеру медленно подкатывал задом почтовый грузовичок, пора уже ставить посылки на движущуюся ленту. И посылка, адресованная Алексею Петровичу Родичеву, поехала в Клайпеду.

Какой-то тип с глазами бешеной рыси глянул на очередь и скрылся. Потом другой – и тоже не обнаружил ничего подозрительного. Алеша аккуратно сложил квитанцию и бережно поместил ее в бумажник. Дома же спрятал ее надежно. По дороге к себе выбросил все ключи, кроме тех, которые отныне становились его единственными, от квартиры, покинутой им месяц назад по великой идее и большой нужде.

С наслаждением вымывшись, он сел перед телевизором и сделал звук громким, никого и ничего уже не боясь. Надо, подумалось, капитально обустроиться. Чтоб Светлана пришла сюда на все готовенькое, чтоб не выкраивала обновки из тощей семейной зарплаты. Прописываться здесь ей вовсе не обязательно, пусть с сестрой и мамашей вступают в кооператив.

Билет до Калининграда он порвал, купил туда же, но на вокзале и в день отъезда. Сошел в Клайпеде, ходил по центру, видел почту, куда добралась уже, наверное, его посылка. Рядом с почтой – музей часов, шелестящие скольжения маятников успокаивали и завораживали.

За три рубля в сутки он снял комнату в пригороде, у самого моря; погода баловала, пляж манил.

Однажды утром он появился в центре города, купил добротную вместительную сумку, пришел на почту, протянул паспорт, смотрел в сторону и все-таки отчетливо видел длинные пальцы почтовой девицы, перебиравшие извещения. Морячок в лихой фуражке писал что-то за столиком, жен-

щина перекладывала из сумки в ящик какие-то скляночки и баночки. «Заполняйте...»

Заполнил. Девушка сходила за перегородку и поставила перед Алешей посылку. Он опустил ее в сумку и в музее часов долго стоял, вслушиваясь в нежный и дробный перестук механизмов. Потом сел в автобус, открыл свою комнатуху и ногой затолкал под кровать посылку. Заснул, а открыв глаза, тщетно вспоминал, какой сегодня день и с утра ли работает Светлана.

Так и не вспомнил – ни в этот день, ни в следующие. Время тянулось от заката до заката, облака поднимались над той впадиной в море, куда медленно вкатывалось солнце, и древняя тоска по светилу угнетала Алешу. Он падал на кровать и зарывался в подушку. Как-то ночью его пробудила память о минуте страха, он пережил его в день, когда Колкин не пришел на встречу, когда Алеша ехал в Свиблово, готовый к ножу, к выстрелу, но никак не к яду. Уже выбрался из метро, уже шел к автобусной остановке, прикрываясь редкими попутчиками, как вдруг почувствовал расслабление, потому что кто-то смотрел на него из темноты – с болью, с мукой, с состраданием и предостережением, кто-то беззвучно кричал, умоляя: не ходи! Он одолел тогда приступ страха, уверил себя: это в нем самом бунтуют и мирятся образы былых страданий и преодолений. А этой ночью догадался: да это ж спрятанный темнотой Колкин прощался с ним, не желая прощаться. Колкину не хотелось его убивать, очень не хоте-

лось. Колкин горевал, из жизни его уходил человек, который не пытался (так ему казалось!) обманывать его, первый и последний напарник, честно желавший разделить плоды совместного труда, не сообщник, а сотоварищ.

При ясном свете дня Алеша выдернул из-под кровати сумку, достал ящик, вскрыл его, надрезал инкассаторский мешочек. Деньги посыпались на одеяло. Считать не стал: к пачкам прилагалась сопроводительная ведомость. «Двести сорок пять тысяч шестьсот рублей ноль-ноль копеек», – прочитал он. Среди самодельных, бумагой и клеем забандероленных пачек лежал упомянутый в ведомости сверточек, «рваные деньги» – так назывался он, и были в свертке надорванные, надклеенные и от ветхости не шуршащие купюры, всего пятьсот с чем-то рублей, самые памятные купюры, удобные для опознания. Пломбу и все металлическое Алеша отрезал, бросил в колодец, а сверточек и сопроводительную ведомость понес к морю, там по вечерам бродячие туристы разводили костры и уходили, так и не погасив их. Пятьсот с чем-то рублей (два ночных месяца у мешалок) горели плохо, деньги не хотели превращаться в труху, хотя и отшелестели свое. Выброшенной на берег дощечкой Алеша сгреб тяжелую золу и отдал ее морю. Теперь никто никогда не узнает, у кого четверть миллиона. Оставленные в коробке продмаговские деньги взбудоражат фантазию следователей, иссушат их мозги, а Колкин понимает, что молчание – это его личное спасение. По сведениям дяди Паши, заключенный Геннадий

Колкин испытал потрясение, когда в колонию, где он содержался, привезли на недельку чернявого мальчишку. Колкин убедился тогда, кто над ним и над всеми настоящий хозяин. Не начальник ИТУ номер такой-то, не воры в законе, обиравшие всех заключенных, не жена опера, шарившая по посылкам, а худенький юноша, перед которым ковриком расстилалось начальство, кормившее его отборными кусками и разрешавшее ему свободно ходить по зоне, подминая под себя все воровское население. Он был богат, очень богат, этот чернявый. Он был участником вооруженного нападения на банк и, пойманный, отказался возвращать государству пятьсот тысяч рублей, свою долю полуторамиллионной добычи. Деньги эти висели на милиции, она вела свои обычные игры, возила преступника по местам, где, предположительно, его могли опознать и вынудить вернуть деньги. Тот же полмиллиона запрятал так, что и рубля ему не видать все двенадцать лет заключения, но они, эти деньги, давали ему власть и свободу, жратву и девок, отдельные купе фирменных поездов, а не битком набитые столыпинские вагоны. Бог! Царь! Господин! И в основе могущества – не сами деньги, а отблеск их или отзвук. Двести сорок пять тысяч, неизвестно где находящиеся, спасут Колкина, это его капитал, он будет жить на проценты с него. Сколько бы суд ему ни дал, в зоне он – не фраер, не сямка, не шестерка, он – в законе, он – на пьедестале воровского почета, под якобы не отданные милиции деньги он может брать любые ссуды. Поэтому-то он и будет



молчать – и на следствии, и на суде. Молчать до упора, ибо раскроешь рот – и срок будет подлиннее: сообщник – это уже сговор, отягчающее обстоятельство, сопряженное к тому же и с отравлением соучастника. Молчать Колкин и тогда будет, когда разгадает – и такое возможно – роль Алеши. В любом случае ему выгодно, чтоб на «Михаила Ивановича» милиция не вышла. И милиции выгодно на одного Колкина навесить инкассатора: преступник пойман!

Абсолютно нераскрываемое преступление, шедевр человеческой мысли. «Ты хорошо поработал!..» – похвалил себя Алеша и пошел собираться в дорогу.

Сойдя с поезда, он на метро поехал к Светлане. Если она дома, произнесет все нужные слова и договорится о загсе. Если в аптеке – подождет ее. Михаил Иванович, наверное, уже похоронен, и ни к чему знать о нем – и самой Светлане, и детям ее, и внукам тоже, которые будут и его, Алеши, детьми и внуками.

Милицейская машина стояла у подъезда, Алеша прошел мимо нее, сел на скамейку невдалеке, закрытый кустами от серой «Волги» с голубым пояском. Чины милиции вышли наконец из подъезда, погоны с двумя просветами. Сели в машину, поехали. Уж не вернулся ли из заключения сын соседки, тот самый, к сестре которого забегали, вызывая насмешливое удивление Светы, кенты?

Дверь открыла Светлана. Кивнула ему так, будто виделись они вчера, и метнулась в комнату. Он заглянул туда. Поста-

вил на пол чемодан. Светлана рылась в шкафу, что-то искала. Нашла.

– Где пропал-то?

– Я ж предупреждал тебя: на заработки подамся...

– Правильно, вспомнила...

Она говорила, блуждая мыслями, думая о чем-то своем, от Алеши далеко.

– Сестренка где?

– В школе, где ей быть...

– Я, кажется, не вовремя...

– Да все сейчас не вовремя. Гости надоели. То бабы какие-то, явные торгашки, все пальцы в кольцах, по душу мою приходили, то мать истерики закатывает, то милиция только что отвалила.

Тягучая, выпытывающая пауза, и Алеша спросил:

– Она-то, милиция, зачем приезжала?

– А-а... Если б ты знал!.. Влипла! Попалась! И по той, и по другой линии. Дура я. Понял? Ты дур видел когда-нибудь? Ну, если не видел, то можешь свои буркалы на меня выставить. Дура – и есть дура.

– Куда влипла? Во что? Ты скажи, в чем дело?

– Да скажу, скажу... Садись.

Она тоже села. Горестно покачала головой, как бы дивясь собственной дурости. Заговорила очень рассудительно:

– Ну, познакомилась с одним парнем. Мужик вроде бы что надо. Присох ко мне со страшной силой, люблю, мол, и люб-

лю, что хочешь для тебя сделаю. Я, дура, и ляпнула: квартиру хочу отдельную! Со смехом ляпнула. А он мне – будет квартира! Уже, говорит, снял для тебя, там будем жить вместе, пока в кооператив не вступим, пойдем посмотрим. Повел смотреть. И я пошла с ним. Что интересно: знала ведь, что произойдет, не хотела этого, тебя ждала, честное слово, ждала, а любопытство все точило, как он к этому самому приступит, что говорить будет, что делать. Ну а потом, когда заговорил, еще большее любопытство – не к тому, что со мной происходить будет, об этом я уже слышала, а к тому, как у него это произойдет...

Она умолкла, и лицо ее выразило то, что сложно передать словами. Будто тучка набежала на солнце и нехотя сползла с него.

– Все мы, женщины и девушки, в душе проститутки, из тех, которые не за деньги... Ну, три раза была у него на этой квартире. Обставленная такая, из трех комнат. Я в одной посижу, надоест – в другую перехожу, потом в третью. В этом, Алеша, что-то есть... Не знаю, как дальше все повернулось бы, может, и в загс пошла бы с ним, но парень-то погорел, по-крупному, на инкассатора напал, вот уж чего от него не ожидала. И я бы осталась в стороне, если б он не сглупил, он по-серьезному на меня рассчитывал, в самом деле жениться хотел, потому что не втихую снял для меня квартиру, а какой-то договор найма заключил с хозяином, по договору этому и прикатали ко мне милиция. Хорошо, что в тот ве-

чер, когда он денежки хапнул, я дежурила, на виду у всех была, никуда из аптеки не отлучалась. А денежки он так за-  
прятал, что милиция до сих пор найти не может, обыскалась,  
всю Москву перетрясла. Вот и думают, что они у меня, нико-  
му больше передать их парень не мог, для меня ведь старал-  
ся. Ключ от той квартирки нашли у меня, перерыли ее в мо-  
ем присутствии. Вообще от меня не отстают. Вчера на свои  
кровные аптекарские купила туфельки – участковый тут как  
тут: на что покупала, где, сколько заплатила? И эти сейчас  
приезжали, туфту лепили, расспрашивали, с кем он встре-  
чался, парень-то. Сообщника ищут. Меня тоже чуть не по-  
садили. За аптеку.

– Не понял.

– Так ведь ревизию тут же в аптеке устроили. Парень-то,  
разузнали, у себя во дворе двух собак отравил, яд пробовал.  
Для чего? Где брал? В аптеке-то не раз бывал у меня. До сей-  
фа с ядами не добрался, но они у нас в ассистентской есть.  
Ревизоры до миллиграмма все взвесили, пропажи не обна-  
ружили. Но я-то знаю – взял.

– Как же так – все сошлось, миллиграмм в миллиграмм?

– Взял. Самый что ни на есть ядовитый яд. Химики-ана-  
литики такой реактив имеют, хлористый барий, во флакон-  
чике, с пипеткой подходи и бери. Я ему и рассказала о нем –  
дура, ой, дура! При мне отливал. Милиции я, конечно, мол-  
чок, слово скажешь – и загремишь. Это атропин, сулема и  
прочее на учете, а хлористый барий – беспризорный, не хва-

тило на него ума у нашего аптекарского начальства. Поэтому молчу как рыба.

– Правильно делаешь. Молчи. Ну а как дальше жить будешь?

– А чего думать. Передачу надо готовить, а денег нет. Два года держала в заначке червонец на всякий пожарный случай. Вот, нашла, – показала она красненькую в кулаке.

– Какую передачу?

– Да ему! Непонятливый ты какой-то... Милиция обещает с ним свидание устроить, чтоб я уломала его: верни, мол, деньги, которые для меня спрятал, оформим как добровольную выдачу... Ну и купить ему хочу что-нибудь, в камере не у родной мамы. Ты не сможешь отвалить мне немного в долг?

Нога Алеши невольно придвинулась к чемоданчику. Потом рука полезла в карман.

– У меня всего одиннадцать рублей. Возьми. Но только отдавать не надо. Договорились?

Она взяла было деньги, а потом вернула их.

– Не надо. Этот змей участковый всю мелочь у меня в кошельке пересчитал. Но все равно спасибо. Напрасно ты уехал. Посоветоваться не с кем. Думала, позвонишь или придешь, обо всем потолкуем. А ничего не знала, как тебя найти, где ты живешь, где работаешь... Много заработал-то?

– Сам не знаю. Расчет в декабре. Я проездом, вечером уезжаю.

– Тогда подскажи: аборт делать? У меня с этими... задержка.

Он поднялся. Взял чемодан.

– Это уж твои заботы.

Она сразу и расплакалась, и рассмеялась.

– Дура и есть дура. Все в аптеке под рукой – и подзалетела... Нет, не буду ничего делать. Яблоко от яблони... Сама, говорят, незаконная, и ребеночек таким пусть будет.

– Ну, желаю удачи. Встретимся как-нибудь.

– Будь здоров.

В конторе, куда Алеша устроился разнорабочим, геологи писали отчеты о летних экспедициях. Как и было обещано, ему дали метлу, семьдесят рублей в месяц и много свободного времени. Иногда приходилось выгружать какие-то ящики да вывозить мусор. Работяги сидели в полуподвале, окруженные табачным дымом и винными парами. Их регулярно навещал участковый и страшал Олимпиадой. Алеша его не боялся. Уже много лет, чуть ли не с момента рождения, милиция надзирала за ним, считая потенциальным преступником. Вот он и стал им.

Он гордился своей норой. Отремонтировал ее, купил новую мебель, цветной телевизор, хорошо сшитые костюмы. Когда истаяли запасы круп и консервов, Алеша в панику не ударился. Он знал, что всегда будет сытым.

Еще осенью побывал он в Свиблове, потолкался у алкашных мест, узнавая новости.

Михаил Иванович, получивший здесь кличку Доцент, умер в ночь на 1 сентября, о чем горько сожалели свибловские ханыги. Начальники, судачили они, «по злобе» запрятали хорошего человека в психушку, а там его, это уж точно, отравили. За правду пострадал убиенный, за правду.

Тело Михаила Ивановича долго лежало в морге Долгопрудненской областной психиатрической больницы № 20. Родственники не захотели его хоронить, труп стал отказным, погребли его за казенный счет.

Свибловская пьянь церемонно постояла у опечатанной квартиры Михаила Ивановича, распила пару пузырей и добрым словом помянула Доцента.

*1994*

# Облдрамтеатр

## *Повесть*

На первую субботу марта выпало факультетское дежурство, сиднем сидел в одуряющем студенческом гаме, охрип, всласть наоравшись, освободился наконец от последнего любознательного, прыгнул в трамвай, выскочил из него задолго до дома – захотелось подышать и подвигаться. Пощипывал морозец, висевшая над городом луна в который раз напомнила об одиночестве (родители померли, друзей нет), ноги взныли, побитые и застуженные на передовой, и разыгралось желание – выпить, немедленно, не отходя, как говорится, от кассы! Купил четвертинку и стал гадать: каким стоящим предлогом оправдать пьянку в подворотне? Не отметить ли какое-нибудь событие давнего или не очень давнего времени? «В наряд!» – кладут резолюцию прокуроры, отправляя в архив дела. А ведь если вдуматься, каждый прожитый год – очередной лист так и не раскрытого дела, возбужденного по факту рождения его, Гастева Сергея Васильевича, и дела, бывает нередко, извлекаются из пыльных хранилищ по внезапно открывшимся обстоятельствам.

Так подо что откупорить четвертинку, каким обстоятельством раскрыть кладовые памяти? Какое событие провернет ключ в заржавевшем замке? Что, кстати, было год назад



именно в этот день, 5 марта? Да ничего не было: будни, лекции, он еще только вживался в преподавательство. А много раньше, то есть 5 марта 1939 года? Тускло и непамятно: студент первого курса, начало семестра, гранит юридической науки, изгрызаемой мозгами скромного юноши, не исключается и городской парк, лед, «гаги», подаренные отцом ко дню рождения. Ну а пять лет прибавить? Госпиталь, уколы, нога в гипсе, третье ранение – ничего примечательного. А еще годик?

Он расхохотался. Адель и Жизель! Сколько лет не вспоминались две француженки, вывезенные немцами из Парижа и немцами же брошенные при отступлении, – боевые трофеи, доставшиеся им, ему и Сане Арзамасцеву. Дивизию в конце февраля отвели в тыл, было это в Венгрии, потрепанный полк зализывал раны, контуженого Гастева пристроили к роте связи, ее командир старший лейтенант Арзамасцев повел Гастева на ночлег в никем еще не занятую усадьбу. Сбежавший хозяин ее наказал прислуге умасливать большевиков, она и выдала русским офицерам спрятавшихся проституток – чернявенькую Адель и белокурую Жизель, которую немцы величали Гизеллой. Обе обладали немалым педагогическим даром – всего за неделю обучили славян всем премудростям любви, расцветавшей в борделях Марселя и Парижа, отчего командир роты связи малость тронулся. Одевшись по всей форме, при орденах и медалях, стал по утрам подходить к зеркалу, вглядывался в свою рязанскую

харю и злобно шипел: «Армяшка!.. Грузинская собака!» – либо совсем уж заковыристо: «Жидовская морда!» 5 марта было днем рождения Сани, на нем и решили: отпустить учительниц на волю, пусть пробираются к холмам и виноградникам прекрасной Франции, к притонам Лютеции, да и политотдел учуял уже запашок разврата. Утирая слезы, французенки ударились в бег. Саню потащили в штаб на допрос, Гастева же отпустили с миром: что взять с контуженого?

За Адель и Жизель полилась водка в рот, прямиком, – прием старый, на передовой всему научишься, закусывать пришлось «мануфактуркой», рукавом пальто. Домой пришел приятно возбужденным, душа освежилась, окно в прошлое распахнулось, повеяло волей, и дьявольский аппетит разгорелся от материализации зыбких образов былого: слопал, не разогревая, суп на плите и приложился к запасенному на Женский день коньяку.

И в следующую субботу повторил возврат в минувшее, нашел год, в котором 12 марта светило особенным днем, достойным внимательнейшего рассмотрения, такой датой залюбуешься. Так с этих суббот и пошло – заглядывание в собственную жизнь, как в замочную скважину, как в щель забора, за которым раздеваются девочки, – был, был однажды такой случай в далеком детстве. Удивительнейшие вещи отыскивались в закромах памяти, где вповалку лежали нажитые им драгоценности. Глоток субботней водки озарял – будто над ничейной межокопной полосой взмывала осветительная

ракета, наугад выпущенная, что прельщало, отчего и затаивалось, как при испуге, дыхание. В неизведанное прошлое летела она, и стала прочитываться собственная биография — та, которую он даже и не знал, о которой ни в разговорах, ни в анкетах тем более не упоминал. На фронте какие-то секунды видишь освещенный край немецкой обороны, но, когда ракета сникает и полоса погружается во враждебную темноту, память в мельчайших подробностях восстанавливает только что увиденное, расширяет высвеченный на секунды круг — и человек ночью видит то, чего не узрел ясным днем. Однажды стал прикидывать, а что, собственно, было в давно прошедшие времена июля 1932 года, и вдруг увидел себя плачущим навзрыд оттого, что в городской библиотеке не выдали ему Фенимора Купера: молод, мол, и не по программе. Все, оказывается, абсолютно все хранится в памяти, и сам он, вот что странно, будто не нынешний, не сиюминутный, а прежний, ничуть не повзрослевший. Да, он, двадцативосьмилетний мужчина, капитан запаса, награжденный десятью орденами и медалями, трижды раненный, народный следователь после института, а ныне преподаватель кафедры уголовного процесса, он, побывавший в огне, крови и мерзости сражений, видевший смерть и настрадавшийся вдоволь, он, Сергей Васильевич Гастев, все еще мальчишка, он такой, что в пору искать зеркало, глядеть в него исступленно и в подражание Сане Арзамасцеву обзывать себя обидными, позорными словами, потому что злопамятен, потому что...

Нечто банное было в этих субботах – облегчающее, отмывающее и очищающее. Вошло в привычку и даже стало ритуалом во все прочие дни таить в себе сладкую жуть суббот, в священный же вечер отъехать от дома, где все назойливо кричит о сиюминутности, как можно подальше, в ту часть города, где давно не бывал, и в сумерках (особо желателен туман) идти по малолюдной улице; бесплотными тенями прошмыгивают мимо случайные прохожие – как даты, события, эпохальные происшествия, до которых сейчас, в эту именно субботу, нет никакого дела, они лишние, они безынтересны, их день и час еще не настал, но грянет календарное число – и уже на другой улице, в другую субботу заголосят немые тени; раздвинется занавес – и на сцене возникнут новые персонажи, на них, как бы в кресле развалясь, и будет посматривать он, Гастев.

Тяжкой была суббота 27 августа 1949 года. Осветительная ракета повисела над таким же днем десятилетней давности, но так и не выхватила из желтого круга ничего крупного или возбуждающего. Взвилась еще разок, залетев на год поближе, и рассыпалась мелкими искрами над плоской землицей. Зато траектория, воткнувшаяся в 27 августа 1938 года, взметнула смертельную обиду, а водка погрузила в тягчайшие раздумья, вновь напомнив о том, какой же он все-таки мальчишка, раз не в силах забыть тот страшный час того самого дня 27 августа, когда пришел он в институт узнавать, принят ли на учебу, хорошо зная, однако, что принят,

зачислен, иначе и не могло быть: все экзамены сданы на «отлично», да и всем известно, что уже с восьмого класса готовил он себя к следовательской работе, проштудировал десятки полезнейших книг, стрелял без промаха, научился обезоруживать преступников, бегал как лось, шпарил по-немецки, мня себя в будущем знаменитым сыщиком. Радостно шел в институт, как на школьный праздник с раздачей новогодних гостинцев, а глянул на доску объявлений – и обомлел: в списках принятых на прокурорско-следовательский факультет фамилии его не было! Глаза заметались, дыхание прервалось, увидел он себя зачисленным на хозяйственно-правовой факультет, причем фамилия стояла не в алфавитном ряду, а в самом низу, от руки приписанная. Недостойно, оказывается, быть грозой бандитов и шпионов, запятанный он, социально или классово чужд настоящим советским парням заветного списка. Что пережито в тот день – на всю жизнь осталось, но виду тогда не подал, а позднее возблагодарил судьбу: на том хозяйственно-правовом факультете (ХПФ) учились грамотные, умные, начитанные ребята и девчата, хорошо воспитанные, у всех до единого какой-то грешок в биографии, какая-то чернящая анкету запись, но они, о грешке и записи зная, жили как ни в чем не бывало, бегали по театрам, влюблялись, понимали живопись и музыку в отличие от нагловатых парней с безупречной родословной, которые учебой себя не утруждали, рассчитывая на пролетарское происхождение и свысока посматривая на оп-

портунистический ХПФ, переполненный «интеллигентами» и «евреями». Сергей Гастев у матери пытался узнать, какое проклятье нависло над их семьей, отец-то, рабочий из мещан, посланный партией на бухгалтерские курсы и ставший поэтому служащим, ни в каких оппозициях не состоял, чист как младенец, мать же с девчоночьего возраста бегала вдоль ткацких станков, и сына родители воспитали примерным пионером и комсомольцем.

Уже в войну, заехав домой после госпиталя, выпытал он все-таки у отца, в чем грех. В середине 30-х годов или чуть позже пришла на заводе пора всем исповедоваться, выкладывать коллективу слабости свои, вредящие общепролетарскому делу. Каялись кто в чем горазд, хлестая себя обвинениями в непреднамеренном вредительстве, и отец, праведный до тошноты и скуки, не нашел ничего лучшего, как брякнуть: грешен, служил под знаменами царских генералов. Так и влетели в протокол слова эти, ничего вообще не значащие, поскольку в царской армии служили солдатами миллионы мужчин. Но словечко-то произнеслось, словечко-то записалось, и какой-то товарищ, сидевший на анкетах и протоколах, службу в царской армии признал предосудительной, хотя никакой вины за отцом не было: советская власть такую службу не считала преступной, а инвалидам империалистической войны выплачивалась пенсия. Но еще до разговора с отцом к Гастеву пришло осознание: власть дурна, криклива, злобна и склонна законопослушного обывателя считать объ-

ектом уголовного преследования, даже если тот ничегошеньки не совершил и живет тишайшей мышью. Дурная власть – надо это признать и на этом утвердиться. Дурная: никогда толком не уразумеешь, чего она хочет и на кого ткнет пальцем («Вот он – сын беляка!»). То ли сама власть рождала исключительно для себя пролетарских неучей, то ли сами неучи сварганили механизм, называемый обществом, только для собственного пользования – сейчас уже не разберешь, запутаешься в клубке причин и следствий. Действующая армия и тыл нуждались в юристах, не раз на него, Гастева, приходили запросы и приказы: откомандировать в распоряжение военной прокуратуры! А Гастев издевательски отговаривался и отписывался: «Юридического образования не имею, поскольку обучался на хозяйственно-правовом факультете». Однажды у особиста лопнуло терпение, свалился на Гастева в окопе, потребовал немедленного ухода с передовой, приказ уже подписан, и Гастев пошел на мировую: «Ладно, утром, после боя...» А утром – осколком задело плечо. Да, дурная власть, временами курьезная, но если она перестанет смотреть на человека исподлобья – свет померкнет, реки выйдут из берегов, засуха падет на Россию-матушку, и это уж точно, будь власть иной – не приперся бы мартовской ночью Саня Арзамасцев с перекошенной физиономией: «Слышь, что сказала Гизелка?.. К ней в Париже ходил сам Илья Эренбург!»

Тягучий и беспощадный вечер 27 августа 1949 года,

ненужные воспоминания, подозрения в правильности того, чем и как живешь, отмечаемые осознанием: именно потому, что власть такая дурная, надо с особым усердием изобличать и ловить преступников. И вопросец возникает: зачем согласился на преподавательство? Неужто на деньги потянуло? Народный следователь прокуратуры Нижнеузенского района – это 875 рублей в месяц, здесь же, в институте, втрое больше, да и для приварка ведется немецкий в школе рабочей молодежи. Там, в районе, – ни одной спокойной ночи, местное начальство волком смотрит, прокурор отшвыривает обвинительные заключения, по сущим пустякам отправляя дела на следствие. Здесь – почитывай книги да холодным глазом жги сердца студентов. Там – койка в Доме колхозника и поиски кипятка по утрам. Здесь – отдельная квартира, предсмертный подарок матери, нашедшей умирающую родственницу с излишками жилплощади. Благословенный оазис, место отдохновения, которое тянет к еще большему удалению от людей, и несколько месяцев назад родилась не безумная идея: а не турнуть ли уголовный процесс да переключиться на римское частное право с последующим чтением курса по одной дисциплине? Прикупить кое-какие книги в букинистическом, углубиться в латынь, история Греции уже почитывается с великой пользой, весталки и гетеры отнюдь не похожи на аделей и жизелей века нынешнего. Но – тянет к себе старое и незабытое, сладострастно манит упоительный процесс поиска злодея, что-то детское проступает в сосущем же-



лании уличить преступника во лжи, и с веселой беззастенчивостью замечается: он, преподаватель, и студенты – это длящаяся схватка добра и зла, и обычный экзамен напоминает скорее допрос, а не проверку знаний. Студент с экзаменационным билетом – это ж подозреваемый, неумело скрывающий лень и невежество, человек, который алиби свое подтверждает лживыми показаниями свидетелей – учебниками якобы прочитанными, присутствием на лекциях, что фиксировалось; да и сама процедура экзамена соответствует статьям Уголовно-процессуального кодекса и неписаным тюремным правилам. Все идет в ход, чтобы вырваться на волю, то есть сдать предмет на тройку и снять с себя обвинение.

Тут и перехваченные «малявы», то есть шпаргалки, тут и оговоры, то есть ссылки на классиков, бывалые сокамерники поднастакивают новичков, нередок и шантаж, преступники временами демонстрируют свою близость к власти имущим, а преступницы намекают на обладание достоинствами Адели и Жизели. Приходится прибегать к очным ставкам и перекрестным допросам, некоторые преступники хорошо усвоили смысл явки с повинной и необоснованно рассчитывают на снисхождение, которого не будет, потому что преподаватель Гастев – это следователь, а выносит приговоры судья, он же декан, ценящий Гастева, с которым изредка ведет споры – наедине, в коридоре, вдали от парторговских ушей внимает речам его, имеющего особое мнение о прокурорском надзоре, о соучастии, вине и объективном вменении, – и, слушая

крамолу, декан испытывает удовольствие, на лицо его наползает гнусенькая улыбочка порочного мальчугана, который только что оторвал глаза от похабной картинки.

Наступила следующая суббота, последняя лекция прочитана, Гастев поглядывал на часы, кляня склоку на кафедре истории государства и права СССР, из-за которой декан покинул кабинет, приказав обязательно дожидаться его. Пятый час вечера, половина пятого, пять... Появился в шестом часу – напыщенный, злой, заоравший на Гастева еще в приемной, обозвавший его – уже за дверью, в кабинете, – смутьяном, невежей, хвастуном, и визгливый тон никак не соответствовал дореволюционной почтенности облика: костюм-тройка, чеховское пенсне, борода лопатой. Молодой преподаватель распекался за позавчерашнюю лекцию, на ней бывшим школьникам внушались некоторые незыблемые понятия – соотношение, в частности, между обычаем, то есть правилами поведения, привычками, грубо говоря, и законом. Тему эту Гастев растолковал так, что декана трясло от страха. Это, шипел он, брызгая слюной, грубейший выпад против советского правоведения, неопытный преподаватель сознательно или непреднамеренно употребил «обычай» не в правовом смысле, а в обиходном, и будущим юристам облыжно сказано о примате нормативных актов над законом, в незрелые юные умы внедрена теория буржуазных злопыхателей, и это-то непотребство – в преддверии исторического момента, приближения всемирного события – семидеся-

тилетия товарища Сталина, здесь бдительность нужна особая! То, что совершил Гастев, – недопустимо, вредоносно, изобличает в нем недостаточную идейно-политическую подкованность, свидетельствует о скудости его теоретического багажа, о пренебрежении им трудами классиков!..

Изображая смущение, Гастев отвечал вежливо, смиренно, с легкой иронией и мысленно посматривая на часы... Да, признался он, третьево дни (он специально употребил это слово для уха декана, падкого – в период борьбы с космополитизмом – на все простонародное), третьево дни в его лекции прозвучало: «Соотношение же между обычаем и правом на Руси таково: есть обычай, есть закон, и Россия имеет обычай законы не исполнять!» Но, во-первых, не им первым сказано это, выражение сие бытовало в среде либеральных профессоров прошлого века. А во-вторых, декан опытный оратор и знает превосходно, что в лекции допустима некоторая вольность, вызывающая улыбки и сдавленный смех, иначе учебный материал не усвоится. В-третьих, надо же приближать теорию к жизни, к практике, к местным условиям, наконец! Разрешено ж в неофициальном порядке на час раньше отпускать вечерников, потому что в городе орудуют шайки и банды, многие студентки живут в пригородах и дома им надо быть до наступления темноты.

Говорил – будто излагал объяснительную записку, одну из многих: декан, трус и ханжа, под замком державший книги буржуазных юристов, всех преподавателей заставлял писать

на себя доносы. Умолк в ожидании сановного жеста с указанием на дверь, но декан взбеленился, затопал ногами:

– Я вас уволю!.. Я вас выгоню из института! Ваше высокомерие недопустимо! И не спасет вас ваша любовница! Высокопоставленная! Закрывающая глаза на ваши приработки! Освободившая вас от картошки!

Шагом победителя покинул Гастев затхлый кабинет ретрограда, подостыл в коридоре, удивляясь тому, что о шашнях его осведомлена не только соседка той особы, которая названа деканом высокопоставленной. А что до приработка, так подменять в институте заболевшую «немку» можно, а за самого себя работать в вечерней школе нельзя, оказывается. Бред какой-то.

Половина шестого уже, время приближалось к заветному рубежу. Портфель с конспектами и книгами будто по рассеянности забыт в шкафу, закуска – краюшка хлеба и огурец – в кармане. Время шло. Почти семь вечера, и шаркающие шаги уборщицы оповестили о скорой четвертинке, Гастев рванулся к выходу, но окопное благоразумие взяло верх: не побежал, шел осмотрительным ровным шагом, чтоб не нарваться на какого-нибудь блюстителя нравов, и только на улице почувствовал себя свободным, раскрытым для запахов и шумов большого города, который и подтолкнет его сейчас к наилучшему маршруту. Шел – куда глаза глядят – ослабленной походкой. Семь часов двадцать минут, вечер такой, что поневоле погрузишься в воспоминания, – теплый,

лето еще не перешло в осень, солнце близко к закатной точке, тени резкие, все готово к возвеличивающей душу минуте, когда решено будет, какой год осветит этот день взлетом чувств.

Итак, 3 сентября 1949 года – и что же было год, два или более назад? 1939 год – светит ли в нем день 3 сентября? Нет, пожалуй: унижение от ХПФ пережито или упрятано, какая-то возня с учебниками, впрочем – воскресенье, был с матерью на рынке, ездили за картошкой, той, на которую бросают послезавтра студентов. Ну а год назад, в 1948-м? Что-то связанное с перемещением, с поездкой к месту происшествия, то ли труп выловили в реке, то ли удушенник, да разве припомнишь – три следователя на весь район...

Мост перейден, река неслышно течет, река покоится, позади остался драмтеатр, где завтра отмечается новый учебный год «в сети высших учебных заведений» и куда приглашены все преподаватели. Проспект Энгельса он пересек вкрадчивым шагом человека, уверенного в том, что где-то рядом, за углом, в косом переулке, найдет то, от чего всколыхнется мысль и чувство. 3 сентября 1942 года – это что-нибудь говорит? Нет, не говорит, а мычит тоскою трехмесячных курсов младших лейтенантов: стрельбище, строевые занятия до упаду, сказочно злобный старшина роты...

Индустриальная улица, добротные дома, населенные конторами и учреждениями, где те же самые строевые занятия, но за столами, и продовольственный магазин, где киснет,

поджидая, четвертинка, покупку которой надо, однако, отложить до решения восхитительного вопроса о дате, над которой взвоется осветительная ракета. Сорок третий год забракован, как и сорок четвертый, в сорок шестом что-то просматривается, но так смутно и непонятно, что лучше уж повременить.

Вдруг он остановился, замер – как перед только что увиденной миной. Сделал – не дыша – два шага назад, чтоб остеречься, дрогнувшая рука коснулась потного лба, и жест этот обозначил так и не произнесенное восклицание: «Вспомнил!»

Картинно эдак взмахнул кистью, изобразил полное недоумение. «Как?... Такое – забыть? Ну, никак от тебя не ожидал, нет, никак не ожидал, *дружнице!*» – урезонил он и самого себя, и того, кто прикидывался им самим. Сокрушенно покачал головой, дивясь преступной забывчивости, хотя с прошлой субботы знал, на каком дне остановится бег памяти, и не ракетница пульнет в небо, а крупнокалиберное орудие выбросит снаряд, который к самому небу взметнет мельчайшие подробности того дня – 3 сентября 1945 года, потому что в нем была она, Людмила Мишина.

Да, конечно, 3 сентября 1945 года. Уже несколько дней он дома, уже...

До четвертинки – рукой подать, магазин рядом, но заходить туда опасно, впереди вышагивает знакомый из областной прокуратуры. И так уже ползет слушок о загулах, в кото-

рые якобы впадает бывший народный следователь, и Гастев свернул в переулок, не дойдя до магазина; теперь, весь находясь в году сорок пятом, никого уже не видел он и видеть не мог, ибо после полудня 3 сентября того года был дома и собирался идти в институт – восстанавливаться. Позади – война, демобилизация, возвращение в родной город, военкомат, милиция, домоуправ, паспортный стол; впереди – учеба, диплом, работа. Офицерские брюки, хромовые сапоги, начищенные до блеска, китель (ордена и медали на нем поблескивают и позванивают), зачетная книжка в кармане, погоны сняты, но фронтовым духом веет от кровью заработанных наград, от нашивок за ранения, – в таком виде хотел предстать перед институтской верхушкой: да, это я, тот самый, которого спихнули вы на ХПФ, и не надо жалких слов оправдания, я вас прощаю!.. Осмотрел себя в зеркале, подвигал плечами и замер – увидел отраженный взгляд матери, любящейся сыном, услышал вздох ее: «Ну, теперь можно...» И что «теперь можно» – понял. Умирать можно – вот что недоговорила мать. Она родила сына, она вырастила его, она вымолила у судьбы жизнь его на войне, сын перенес уже смерть отца и теперь безропотно встретит кончину матери. И стыдно стало – перед кем выхваляться вздумал? Плевать ему на институтское начальство!.. Сапоги – в угол, китель и брюки – на вешалку, из Вены, последнего места службы, привезены три костюма, выбрал самый скромный, поцеловал мать – и на трамвай. По уважительной причине отсутствовал студент

четвертого курса хозяйственно-правового факультета Гастев Сергей Васильевич, прошу зачислить в институт для продолжения учебы – такая форма поведения выбралась.

Встречен же был сверхрадушно, обнят и расцелован, выяснилось к тому же, что оскорбляющий ухо и глаз ХПФ ликвидирован, отныне деление на чистых и нечистых проходит по другим признакам: судим – не судим, есть ли родственники за границей, а главное – проживал ли на временно оккупированной территории. Приказ о зачислении был немедленно подписан, Гастева определили на последний курс, обязав доедать кое-какие дисциплины, студенческий билет выдали без проволочек, оставалась сущая ерунда – получить учебники, тут-то и возникла закавыка, без которой власть не была бы властью: требовался еще и читательский билет в библиотеку, которой ведал почему-то зам по хозяйству, – его и пошел искать Гастев, часто останавливаясь у незабытых аудиторий. Всесильный зам обосновался на первом этаже, куда-то вышел «на минутку», в приемной на стульях вдоль стены расположились первокурсники, судя по несмелости, а на столе (а не за столом!) сидела молодая и очень привлекательная женщина, сидела в чересчур вольной позе – так, что угол стола раскинул ее ноги и туго обтянул юбку на бедрах возбуждающей полноты. По позе этой, по тому, как умолкали парни, когда женщина открывала рот, Гастев решил поначалу, что на столе сидит методистка какой-то кафедры. Вместо блузки – спортивная рубашка с короткими рукава-



ми, на ногах – танкетки, тупоносые и на широкой платформе туфли, на запястье – мужские часы, а не крохотные дамские из поддельного золота (их мешками везли из Германии), волосы темно-каштановые, без каких-либо следов завитки, брови смелые, о глаза серые, и глаза эти секунду поддержались на Гастеве, когда тот вошел, отвелись, абсолютно безразличные, и минуло две или три минуты, прежде чем женщина спросила: «А вы по какому вопросу, товарищ?» – задала вопрос, даже поворотом головы не обозначив «товарища», а лишь слегка изменив тон, каким говорила со студентами. Гастев не ответил, не испросил и разрешения курить, поскольку студенты дымили всюю. Единственная пепельница – на столе, и оказалось, что женщина, с десяти шагов весьма миловидная, вблизи смотрелась удручающе иной: и глаза вроде бы как-то косо помещены на сплюснутом лице, подбородок выступает нагловатенько, и лоб какой-то не такой, манеры и речи же – нахраписты и угодливы, как у пристающей к прохожим торговки краденым, чего не видели или не хотели замечать студенты, ловившие каждое слово девки с раскинутыми ногами. Сомневаться в том, что говорилось ласково-воспитательным тоном, она запрещала, и даже если студент всего лишь переспрашивал, она обрывала его так, что ответ напоминал оплеуху или зуботычину. По этой манере затыкать рты и превращать диспут в монолог Гастев догадался: не методистка, а какая-то комсомольская начальница, обязанная глаз не спускать с вверенных ей овечек, к каким

она относилась и приبلудную овцу, Гастева то есть, всем поведением своим являвшего признаки непослушания, потому что дважды или трижды возникшая пауза призывала Гастева хоть словечком проявить интерес к разговору, на что он отвечал презрительным молчанием. А шла речь о романе известного писателя, живописавшего подвиги комсомольцев, всецело посвятивших себя борьбе с немецкими оккупантами. Нашлась, однако, в комсомольской организации парочка, которая – по смутным намекам писателя – вступила в «близкие отношения», не прерывая, впрочем, борьбы, что никак не устраивало открывшую диспут начальницу.

«Не-ет! – негодовала она. – Раз ты сражаешься за Родину, то будь добр – посвяти борьбе все силы, забудь о половых различиях!..» И тут же, не удостоив Гастева взглядом, она чуть понизила голос, и будто кнут взвился над ним: «Вам надо подождать, товарищ!» А он стиснул зубы от злобы, потому что вспомнил, кто пытается командовать им и как зовут командиршу. Людмила Мишина, в институт поступившая годом позже его, но еще в Школе он слышал о гадостях этой самозванки, всегда норовившей стать начальницей и умевшей выискивать в человеке изъян или недостаток, чтоб гвоздить по нему безжалостно и безостановочно. В пионерлагере она так зашпыняла хроменькую девочку, заставляя ее бегать наравне со всеми, что та едва не повесилась, из петли ее вытащили, в кармане нашли записку: «В могиле ноженки мои станут прямыми». Пионервожатую потянули было на

расправу, но лишь слегка пожурили; мать хромоножки продолжала, несмотря на угрозы, твердить: посадят когда-нибудь эту мерзавку Мишину, обязательно посадят, с преступными наклонностями она!

Вдруг раздался звонок – на лекцию, видимо. Студенты разом встали и почти бегом покинули приемную, а мерзавка с гимнастической легкостью соскочила со стола. Три года прошло, как видел он Мишину в последний раз, – она за это время укрупнилась, не потеряв гибкости, ладности. «Так это вы – Сережа Гастев?» – протянула она ладошку. Все, оказывается, знала о нем – о том, что вернулся, что принят полчаса назад в институт и что пришел сюда за читательским билетом. Сомнительно, чтоб весть о герое-фронтовике пронеслась по институту с быстротой молнии, но Мишина – Гастев столкнулся с этим впервые – обладала искусством первой узнавать все новости. Достав из стола прямоугольный штампик, она шумно дынула на него и приложилась им к студенческому билету Гастева, что давало ему право не только пользоваться книгами, но и посиживать в читальном зале для преподавателей. Как-то так получилось, что дел у нее никаких в институте не оставалось, а Гастеву получать учебники расхотелось, Людмила Мишина к тому же обещала отдать ему те, в которых уже не нуждалась, госэкзамены сдав и получив небесполезный диплом и место на кафедре советского права. День – сияющий, ни облачка на небе, ветер несет запахи города, в котором не было уличных боев, от Людмилы Ми-

шиной ничем не пахло: ни духами, ни помадами она никогда не пользовалась, чтоб не подавать дурного примера, и шла рядом с Гастевым так, что у него и мысли не возникло взять ее под руку, тем более что Мишина, не пройдя и двадцати метров, приступила к любимейшему занятию – перевоспитанию пораженного всеми видами разврата комсомольца, уличив Гастева в легкомысленном отношении к браку еще на первом курсе, когда он вступил в «близкие отношения» с «не буду называть кем», всех подряд охмуря «разными там словами»...

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.